

Люди, которые всегда со мной

Автор:

[Наринэ Абгарян](#)

Люди, которые всегда со мной

Наринэ Юриковна Абгарян

«Люди, которые всегда со мной» – это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас – даже уже уйдя, даже незримо – и делают нас теми, кто мы есть.

Наринэ Абгарян

Люди, которые всегда со мной

© Наринэ Абгарян, текст, 2014

© Сона Абгарян, иллюстрации, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

Армянское нагорье видело на своем веку много прекрасного: языческие капища – с жертвенными хороводами, обращенными к солнцу крашенными хной ладонями жрецов и жриц; острокупольные апостольские храмы – в бедном убранстве, аскетичные, в годы чужеродного владычества молчаливые, но несогбенные; домотканые ковры – шелковые или тяжелой шерстяной пряжи, огромные, с карминными разводами вортан кармира[1 - Кошениль, маленькие червецы, обитающие в корнях растений, из которых получали насыщенную алую краску. Карминный алый так и называли – вортан кармир.]; рвущие душу песнопения – песнь пахаря, песнь зари, песнь урожая, песнь провожающих на войну, песнь встречающих с войны. Песнь убаюкивающая и песнь пробуждающая. Песнь исцеляющая и песнь оплакивающая...

Армянское нагорье насквозь пропитано кровью и слезами. Много горя оно повидало на своем веку: бесконечные войны – выматывающие, несправедливые, жестокие; междоусобицы – братоубийственные, разрывающие страну на части. Каждый завоеватель, будь то Сасанидская Персия, монголо-татары или Османская Турция, неизменно придерживался одной и той же тактики – покорив страну, переселял местное население на новые территории – лишенный исторических корней народ быстрее ассимилируется и теряет свою национальную самобытность. Опустевшие земли заселялись тюркскими кочевыми племенами.

Особенно тяжело пришлось во времена правления персидского шаха Аббаса I. По свидетельству историков, Аббас I угнал вглубь Персии практически все население Армении, а крупные армянские города просто стер с лица земли. Он был предусмотрительным правителем и понимал, что люди всегда будут возвращаться, если есть куда вернуться.

Единственными, кто не подчинился указу шаха, были армяне Карабаха. Карабахские мелики – князья – собрав свой народ, ушли в неприступные горы и организовали такое мощное сопротивление, что персидский шах махнул рукой – шайтан с ними, пусть живут в своих скалистых ущельях, все равно помрут с голода.

С голода карабахцы не погибли. Через какое-то время они покинули ущелья, спустились в низины и организовали Карабахское ханство – пять княжеств, объединенных в Хамсу[2 - От армянского «хамс» – пять.]. Карабахская Хамса оказалась не по зубам кочевникам – они раз за разом штурмовали неприступные земли и с большими потерями, несолоно хлебавши, отступали. Постепенно в мятежный край стали стекаться армяне, которые, спасаясь от нашествия, прятались в высокогорьях – Тавушском и Лорийском. Теснимые набегами тюркских племен, они стягивались к единственному непокоренному бастиону – восточному осколку когда-то огромной и могучей Великой Армении – Нагорному Карабаху. Их принимали с распростертыми объятиями, обеспечивали жильем, едой и оружием.

В один промозглый февральский день с севера, с ущелья горы Мургуз, прибыл груженный нехитрым скарбом обоз – восемнадцать больших телег. Просить пристанища приехали четыре тавушских рода – Мелкумяны, Меликяны, Атояны и Меликбекияны. Из ста пятидесяти человек до места добрались восемьдесят семь, остальные погибли от холода, голода и болезней – переход через ледяной перевал оказался долгим и мучительным. На протяжении двух веков Карабах был их пристанищем – до той поры, пока войска Российской империи не вторглись в Закавказье и не отвоевали у Персии его значительную часть. Приход русских ознаменовал конец многовекового унижительного рабства.

В начале XIX века его императорское величество Александр Первый, а затем и его сын Николай Первый, в попытке сделать предсказуемым и управляемым подбрюшье Российской империи, затеяли грандиозный проект – этническое размежевание и переселение закавказских народов с мест их так называемого вынужденного проживания в места исторические. С первой волной переселенцев домой вернулись потомки тех четырех тавушских родов. Они привезли с собой карабахский диалект, кухню и традиции. Под развалинами старой крепости они воздвигли свои новые сакли – старые были разрушены кочевниками. И потянулись из каменных печей к небесам прозрачные дымные пряди, и завели петухи свою победную песнь зари, и застучали тяжеленные молоты кузнецов – мужчины рода Меликян испокон века были хорошими

оружейниками, лучшими в Тавуше. И заплелась в причудливый узор шерстяная пряжа – женщины рода Мелкумян создавали знатные ковры «технахундж», ярко-желтые по всему полю и темно-узорчатые по центру, с бесконечным вплетением знаков и символов по украшенным шелковой бахромой краям.

И вновь появился на ладони мира стертый когда-то до основания городок Берд, названный в честь старой полуразрушенной крепости, что возвышалась на вершине рыжей горы. Ибо «крепость» в переводе на армянский – «берд».

Девочка

Петухи кричали так неистово, словно, заново сотворивши мир, спешили поделиться со всеми радостной вестью. Утро стояло ясное и чистое, проводи рукой по макушкам кипарисов – и наберешь полную горсть прохладной росы. Яркие в густой южной ночи звезды к рассвету обиженно взмывали ввысь, в стремительно бледнеющие небеса, и, тускло мерцая, исчезали в бескрайней высоте.

Нехотя отступала утренняя дымка: цепляясь за колючие ветви малинника, клубясь марлевым рваным покрывалом над кривеньким деревянным частоколом, она низко стелилась над самой землей и, обреченно отступая к ущелью, растворялась навсегда, оставляя на пологих камнях влажные недолгие следы.

Густо замычала корова – это соседка Вардик вывела свою Маришку из темного хлева. Маришка привычно потянется к забору, толкнет лбом калитку, выйдет на улицу и побредет вдоль по неровной узкой дороге в сторону речки. Там, внизу, на старом низеньком мосту уже собралось небольшое стадо. Древний пастух, сидя поодаль на большом, торчащем среди буйно зацветшего просвирняка камне, пыхтит самокруткой. Над седыми, пожелтевшими от табачного дыма усами нависает горбатый нос, из-под кустистых бровей глядят выцветшие от возраста глаза, сухонькая голова покрыта теплой шерстяной шапкой. Перекатываются с тихим шорохом в огрубевших пальцах камни четок – шур-шур, шур-шур. Тридцать три полустертых продолговатых камня да строгий крестик, свисающий с самого края.

Маришка неспешным шагом дойдет до обрыва, свернет с каменистой дороги к кромке и станет осторожно спускаться по козьей тропе. Старик пастух, жуя самокрутку, невозмутимо будет наблюдать ее медленный ход. В какой-то миг на остром каменном повороте Маришка споткнется, остановится и беспомощно замычит. Стадо заволнуется, пойдет беспокойной рябью и тревожно замычит в ответ.

Тогда лежащая у ног пастуха огромная кавказская овчарка Найда с человеческим вздохом поднимется на лапы и потрусит вверх по тропинке. Она коротко гавкнет, в два длинных прыжка достигнет Маришки, аккуратно подцепит зубами веревку, свисающую с ее шеи, и требовательно дернет вниз. Маришка еще раз замычит и послушно пойдет за Найдой, ступая по самой кромке тропы и тяжело ходя крутыми боками.

– Безрогая ты скотина, вот ты кто такая, Маришка. – Старик поднимется, отряхнет колени, с трудом выпрямит спину. – Спотыкаешься на одном и том же выступе, иех! Цо! Цо! – призывно поцокает он стаду и медленно пойдет на восход – мимо развалин старой крепости, мимо виноградника, мимо пшеничного большого поля, туда, где под лучами просыпающегося солнца шелково простираются бескрайние поля. Стадо будет преданно идти рядом, иногда заходить вперед и нехотя расступаться, пропуская редкие утренние машины.

– Здравствуйте, уста Амбо! – станут здороваться водители, почтительно притормаживая рядом. – Как здоровье?

– Здравствуй и доброй тебе удачи, – важно будет отвечать им старик, – на работу небось?

– На работу, а как же!

– Вот и мы на работу. – И пастух, тяжело опираясь на корявую палку, побредет дальше. Навстречу ему уже всю розовеет небо, переливаясь по самому краю золотой гладью, еще чуть – и появится огненный бок солнца. Медленно, словно нехотя, оно выкатится из-за горизонта, на секунду замрет на круглом плече холма, а потом рывком поднимется высоко, исходя благотворным теплом.

– Охаааа-ай, – старик остановится, заслонит ладонью глаза, – охааай! Пусть слава Твоя будет вечной, Господь-джан! – И повторит еще раз, уже шепотом,

словно заклинание: – Пусть слава Твоя будет вечной!

И господь ответит ему, обернувшись птичьим щебетом, ласковым ветром, звонкой волной бегущей среди камней речки:

– Пусть слава твоя будет вечной, Амбо-джан.

Утро

Мама спускается по ступенькам, прихватывает кончиками пальцев тяжелые металлические перила, шлепки весело стучат по ее пяткам. Мама в моей косынке, она сложила ее несколько раз вдоль в длинную широкую ленту и обвязала смешным узлом надо лбом. Я иду следом и бурчу. Не то что мне не нравится, что она ходит в детской косынке с синими колокольчиками по голубому полю, я просто глухо раздражаюсь, даже не знаю почему. Хочется держать маму за подол платья и не отпускать. Поэтому я хмурюсь, но ничего не говорю, только иду следом и вздыхаю про себя.

– Прекрати душераздирающе вздыхать, – говорит мама, – лучше заberi у меня бидончик.

Бидончик эмалированный, белый, с букетом желтых цветов на оттопыренном толстеньком боку. Я поднимаю крышку и заглядываю внутрь. Пусто. Еще бы не пусто, последнее молоко сегодня пустили на кашу. Я честно пыталась ее съесть. Но она невозможно гадкая на вкус! Хотя по виду совсем не скажешь: белая густая гладкая масса, а по центру – растаявший островок сливочного масла. Очень здорово представлять, что ложка – это лезвие конька, и чертить ею на белом катке замысловатые бороздки. Тогда по этим бороздкам тоненьким ручейком бежит желтое растаявшее масло. Красота красотой, а есть невозможно.

Иногда так бывает. Снаружи одно, а внутри – совсем обратное. И не поймешь, зачем оно так устроено.

Мама расстраивается, когда я не ем. Говорит, что я ее в гроб вгоню своим упрямством. А еще говорит, что я так с голоду помру, и в школу меня не возьмут. Очень надо. Небось в школе тоже кормят манной кашей! Ну какой

бесчеловечный человек ее придумал, эту манную кашу? Почему бы ему что-нибудь хорошее на завтрак было не придумать? Мороженое или конфеты? Опять же печенье?

– Не греми так бидоном, – говорит мама, – и смотри под ноги.

Мы идем покупать молоко к соседке Вардик, у которой корова Маришка. Маришка уже давно пасется в поле, тетя Вардик с утра подоила ее и выпустила за ворота – к стаду. А толоком она приторговывает, чтобы прокормить семью. Потому что муж тети Вардик, дядя Леван, совсем не работает. У него больные ноги. Он ходит с большим трудом, и я боюсь к нему подходить. Ведь при ходьбе он качается так, словно его заносит сильным ветром то в одну, то в другую сторону. Того и гляди упадет. Вот я и боюсь к нему подходить, вдруг он как-то не так качнется и свалится на меня? Дядя Леван весь из себя бородатый, и лицо у него такое, как бы сказать... Морщинистое лицо, некрасивое. Но глаза добрые-добрые. Он мне из хлебного мякиша слепил фигурку с шестью выступающими краями, она немного нескладная, но очень забавная и смахивает на юлу. А самое забавное в этой фигурке то, что, как бы ты ни старался и с какой бы силой ни запускал ее в пол или в стену – выступающие края не ломаются и даже не мнутся. Не понимаю, откуда взрослые такое придумывают.

Они вообще умные, эти взрослые, вот если бы еще манную кашу не придумывали! Ей-богу, словно никогда детьми не были. Вырастают и забывают все свои детские невкусности.

Дядю Левана я люблю и всегда здороваюсь с ним через забор. А тетя Вардик мне совсем не нравится. У нее громкий колючий голос и голубые прозрачные глаза. Они смотрят будто сквозь тебя, и взгляд из них холодный-холодный. А по центру торчит маленький черный круг зрачка. Такое впечатление, словно кто-то злой сидит в ее голове и через зрачки следит за тобой. Неприятное ощущение, очень. Мне почему-то кажется, что мама тоже не любит тетю Вардик и ходит к ней с большой неохотой. Если только дома вдруг нет молока, а в магазине оно уже закончилось. Такое часто бывает, продуктовый у нас маленький, и там всегда длинные очереди. Не успел вовремя – и уже не купишь ни молока, ни какого-нибудь другого продукта. Сыра, например.

Мы идем сначала по нашему двору, потом по саду Нани[З - Прабабушка.] Тамар: мимо низенькой яблони, потом мимо обмотанных газетой подсолнухов. Они смотрятся очень смешно, эти подсолнухи – высокий зеленый стебель с

торчащими большими листьями и мятый газетный узел вместо семечкового круга. Подсолнухи обматывают, чтобы птицы не склевали семечки. Нани Тамар берет у нашего деда прочитанные газеты, которые называются «Правда», и завертывает ими большие головки подсолнухов, а края газет стягивает суровой ниткой. И стоят подсолнухи, словно болеют ангиной, с обмотанным горлом и головой. Только птички иногда попадают такие смысленные, они выклевают в газете дыру, и если вовремя не спохватиться, то пищи пропало, нет твоих семечек, как не бывало. И я по этому поводу знаете чего думаю? Что каждый в этом мире хочет есть, и ничего с этим не поделаешь.

В общем, идем мы мимо подсолнухов, мимо кустов роз, мимо вишни, мимо черной туты, последние ягоды, большие, тяжелые, так и просятся в рот, только кто их станет есть, все уже устали от туты. Так что мы идем дальше, я гремлю бидончиком, а мама что-то напевает себе под нос, у мамы красивый голос; когда она поет, все замолкают и с удовольствием слушают. Жаль, она очень редко поет.

Потом мы поворачиваем к старой каменной печи – она большая и уютная, с кривенькой крышей и тяжелой металлической заслонкой. Эта заслонка словно кляпом закрывает выгнутый подковой рот печи. Когда бабушка Тата печет хлеб, она сначала жарко растапливает печку, потом, как только дрова выгорают, выгребает в сторону угли и раскладывает внутри большие круглые хлеба. От печи несет таким жаром, что Тата отворачивается и дышит мелко-мелко. И тут главное не путаться под ногами, чтобы она успевала сначала длинной деревянной лопатой раскладывать взошедшие круги теста, а потом вытаскивать хрустящие ароматные караваи.

Сразу за печкой узкая тропинка, резко повернув направо, упирается в деревянный перекошенный забор. Нужно встать возле этого забора и позвать тетю Вардик. Тогда она выйдет из дома, заберет у нас бидон и вернет через несколько минут, доверху наполненный молоком. Дом у тети Вардик каменный, двухэтажный, с большой застекленной верандой и деревянным балконом. Во дворе пусто, и это хорошо. Значит, они наконец привязали своего Гектора. Гектор – большой дворовый пес, почему-то очень злой, он кидается на всех, а особенно – на детей. Позавчера погнался за мной, я испугалась и побежала, потом споткнулась и растянулась в пыли. Гектор подскочил и страшно лаял мне прямо в затылок. Если бы не Витька, который вынырнул откуда-то из-за угла и отвлек его на себя, то пес, наверное, укусил бы меня.

Теперь я боюсь Гектора и редко одна выхожу за калитку.

– Вардик-тёооо-тя?! – зовет мама.

– Иду! – Тетя Вардик выходит на порог, руки у нее большие и мокрые. Она привычным жестом цепляет край фартука, вытирает ладони, забирает бидон и семенит к дому.

– Mam? – Я дергаю маму за подол платья.

– Да. – Мама смотрит на меня сверху вниз, густая челка лезет в глаза, над челкой смешным узлом топорщится моя синяя косынка. Когда-то у мамы были длинные-пре-длинные волосы, а теперь они совсем короткие.

– А зачем ты все-таки повязала косынку?

Она поправляет челку и смеется.

– Тебе не нравится? Сейчас модно носить такие узлы на голове, вот и я не отстаю от новой моды. Что скажешь?

Когда мне говорят «что скажешь», я сразу надуваюсь как индюк. Мне нравится, что у меня спрашивают мнения. Словно я уже совсем взрослая и много чего умного знаю. Вот и сейчас, важно надувшись, я отвечаю маме:

– Ну если тебе нравится, то ходи с этим узлом на голове. – И, чуть подумав, добавляю: – Мне тоже нравится!

– Вот спасибо. – Мама наклоняется и прижимается щекой к моей щеке. – Ты моя девочка!

Я крепко обхватываю ее за шею и, хоть понимаю, что говорить об этом неправильно, но все равно шепчу:

– Mam, а почему ты ночью плакала?

Мама резко освобождается, выпрямляется и снова смеется. Только смех у нее теперь совсем не лучезарный, а такой, знаете ли, грустный смех, деланный.

– И ничего я не плакала, дочка, просто мне снился плохой сон, вот я и проснулась от страха. – И она делает беспечное лицо.

– А что тебе снилось?

– Представляешь, а я уже забыла!

– Совсем-совсем не помнишь? – Я хожу босоножкой по траве. – Неужели все забыла?

– Все забыла, совсем все! Наверное, это хорошо, да? Что скажешь?

И тут я снова надуваюсь от гордости, и у меня мигом вылетает из головы следующий вопрос, который я хотела задать: «А почему тогда папа тебя шепотом отчитывал и говорил: „Зачем винить себя в том, в чем нет твоей вины“?»

Но тут приходит тетя Вардик и протягивает нам бидончик.

– Спасибо, – говорит мама, расплачивается за молоко, берет меня за руку, и мы идем обратно через сад Нани Тamar.

Тетя Вардик не отвечает, я аж затылком чувствую, как она смотрит нам вслед своим долгим колючим взглядом, по-курьи склонив набок круглую голову. Дома мама поднимает крышку бидона, и у нее делается беспомощное лицо:

– Опять разбавляла молоко водой, вон какое синюшное.

– Не обижайся на нее, дочка. – Тата достает из шкафчика эмалированную кастрюлю, красную в белый горох, и ставит на плиту. – Ей же надо как-то детей кормить.

– Пусть тогда молоко дороже продает. Обманывать зачем?

– Не знаю. – Тата заливает в кастрюлю молоко и ставит на маленький огонь, попутно объясняя мне: чтобы молоко не пригорело, его всегда разогревают на маленьком огне, запомнишь? – Потом она оборачивается к маме, мама стоит у окна, задумчиво смотрит во двор, узел платка смешно топорщится у нее на голове, и Тата какое-то время глядит на этот узел, потом вздыхает и говорит: – Ты во всем ищешь правду, дочка. Отпусти. Есть вещи, которые нужно воспринимать как данность. Проще смириться.

– Не могу, – говорит мама и продолжает смотреть во двор.

День

Я спряталась от всех за домом и плачу. Ну то есть не совсем, конечно, плачу, можно даже сказать, что совсем не плачу, так просто, жалобно скулю.

Сегодня пеструшки заклевали мою любимую курочку. Насмерть заклевали. И никто, никто из взрослых за нее не заступился! Стояли и смотрели, как ее добивают. А потом Нани взяла ее за лапки, унесла куда-то, а с гребешка капала кровь, и голова беспомощно моталась туда-сюда. Даже не хочу знать, куда она ее унесла! Небось на ужин будет куриный суп. Ой-ой, ужас какой! От обиды я снова начинаю ходить кругами и жалобно скулить.

Наш дом стоит на отвесном склоне холма. Чтобы как-то удержать сползающую в ущелье плодородную землю, люди прорубили в скале этикие большие ступеньки. На одной ступеньке уместились наш дом с большим двором и старым тутовым деревом, а слева от нашего дома притулился дом Нани Тamar. На «ступень» ниже раскинулся большой фруктовый сад, там растут яблони, и груши, и слива ренклед, и айва, и ореховые деревья, и даже голубые ели растут. В дальнем углу сада Тата развела огород с грядками кинзы, базилика, петрушки и укропа и с обязательным котомом[4 - Водяной салат.]. Потому что если в сезон зелени к обеду не подадут котом, то дедушка в знак протеста уходит из-за стола. Уж не знаю, что он в нем такого нашел! Я пробовала несколько раз – пахучая, острая на вкус зелень, ничего особенного, но вот поди ж ты, дед ее очень любит, с сыром или без, и сильно расстраивается, если ее нет на столе.

За огородом, сразу за грядками с зеленью находится курятник. Днем пеструшки, самодовольно квохча, ходят окрест, ковыряются в земле, а с наступлением темноты спят на деревянных жердочках. В углу курятника стоят две коробки,

наполненные сеном. В эти коробки куры несутся. Моя обязанность ежедневно ходить в курятник с маленькой эмалированной миской – ни на что другое эта миска уже не годится, потому что эмаль по дну отбита, так вот, моя обязанность ходить в курятник и проверять, снесли ли курочки яйца. Иногда пеструшки отказываются нестись в ящички, зловедничают, прячут яйца по разным кустам, и тогда мне приходится ходить по периметру сада и выискивать их.

Петух у нас жутко драчливый и крикливый, но вообще невероятный красавец. Нежно-золотистый, с разноцветным большим хвостом и гребешком, гордо нависающим над левым глазом. Этот нависающий гребешок придает петуху залихватский пиратский вид. Он периодически взлетает на деревянный забор и кричит оттуда победным криком свое «кукареку», а куры бегают кругом всполошенными стайками. Иногда я подбираю во дворе зеленые и синие петушиные перья, хорошенько промываю, сушу и храню в ящичке письменного стола. Когда я болею или погода плохая, и меня не выпускают во двор, я вытаскиваю какое-нибудь перо, усаживаюсь за стол, беру лист бумаги и вожу по нему, делая вид, что пишу. Ну как в фильмах, которые показывают по телевизору, где маркизы или какие другие графы важно сочиняют письма или диктуют указы про «отрубите ему голову».

Несколько дней назад Нани Тamar купила на базаре курочку. Вернулась и зовет меня, выходи, мол, посмотри, какая красота. Я выскочила из дому, на ходу цепляя босоножки, и полетела вниз по крутым ступенькам веранды.

– Осторожно, – испугалась Нани, – не споткнись!

– Не споткнусь, – успокаиваю я, а сама изо всех сил бегу к ней, – что у тебя в сумке?

– А вот что, – Нани Тamar открывает авоську и вытаскивает оттуда маленькую кипенно-белую курочку, такую всю из себя принцессу – аккуратный гребешок, бежевый клюв и тоненькие коротенькие лапки.

Наши пеструшки коричнево-оранжевые, с темными вкраплениями перьев по бокам и в хвосте, достаточно поджарые, и лапки у них ловкие – они умеют быстро бегать и даже немного, в несколько коротких взмахов, летать. А эта курочка вся такая кругленькая, и ходит медленно, с достоинством, и хвост у нее пышнее, чем у наших пеструшек.

Я ее сразу полюбила.

– А можно это будет моя курочка?

– Можно, конечно, – кивнула Нани и выпустила курочку в сад. – Как ты ее назовешь?

– Я придумаю, – обещала я.

Петух при виде новой курочки торжественно растопырился всеми перьями, взлетел на забор и победно закукарекал. Он у нас всегда был очень любвеобильным и чуть ли не ежеминутно покрывал какую-нибудь зазевавшуюся пеструшку. Пеструшки, истоиво квохча, выскакивали потом из-под него и убегали в другой конец сада – приглаживать выбившиеся перышки и приходить в себя от такого беспардонного обращения.

С появлением беленькой курочки петух прекратил обращать внимание на пеструшек и кинулся любовничать только с ней. По первости пеструшки встретили беленькую курочку дружелюбно. А потом, поняв, что петух вдруг заделался однолюбом и никого вокруг больше не замечает, подняли жуткий переполох и стали гонять соперницу по двору. Тата отбивала ее, как могла, запирала пеструшек с петухом в курятник и оставляла курочку одну гулять по огороду. Петух раздраженно кукарекал и ревниво следил желтым влюбленным глазом за новой курочкой, а пеструшки заходились в гневном клекоте.

Сегодня Тата открыла курятник и выпустила кур. Они, недовольно бурча, разбрелись по двору, а истосковавшийся петух снова погнался за новенькой курочкой. Пеструшки недобро наблюдали эту картину, но ничего не предпринимали, чем и усыпили Татину бдительность. Однако в обед, когда все сидели за большим кухонным столом, во дворе поднялся невероятный шум, мы выскочили на веранду и застали ужасную картину: пеструшки, коварно обступив со всех сторон мою курочку, клевали ее в гребешок и рвали когтями бока.

Я кинулась во двор спасать ее, но Тата не дала мне это сделать, она схватила меня в охапку и прижала к себе:

– Тут ничего не поделаешь, все равно ее убьют.

И все молча наблюдали, как пеструшки добивают мою курочку. Потом они победно разошлись, оставив на поле боя свою окровавленную жертву. Я поискала глазами маму. Она стояла в дальнем углу веранды и, обняв себя крест-накрест руками, смотрела во двор.

– Вы заметили, как себя вел петух? – Тяжело ступая, по лестнице поднималась Нани – на переднике, прямо под карманом, темнело маленькое влажное пятнышко. – Он ничего не сделал, чтобы защитить курочку, взлетел на забор и со стороны наблюдал, как ее добивают. – Нани встала, уперлась руками в бока, покачала головой. – А сейчас ходит по двору, словно ничего и не было.

– Все как у людей, – вздохнула Тата и взяла меня за руку, – все как у людей. Пойдем. Обед стынет.

Вечер

Мы с Витькой ковыряемся у него во дворе. Разгоняем жучков, которых у нас называют «турки затик» – «турецкие божьи коровки». Жучки вылезли на залитую вечерним солнцем бетонную плиту. На этой плите Витькина бабушка сушит отяжелевшую от стирки, остро пахнущую овчиной шерсть или большие подносы фруктов и ягод. У Витькиной бабушки самые вкусные в округе сухофрукты. Кизил, например, даже после долгой сушки под палящим солнцем сохраняет мягкость и сочность.

Сейчас бетонная плита пуста, и по ней шустро бегают турки затики. Они небольшие, продолговатые, с темным рисунком на красной панцирной спинке и, в отличие от обычных божьих коровок, не летают. Мы брезгливо отгоняем их к краю плиты большим листом лопуха и сталкиваем вниз.

Витька живет через две дороги от нашего дома, на локте той улицы, которая огибает ущелье северной стороной. Эта улица, резко заворачивая, упирается острым углом в скалу, а потом долго скатывается вниз, в сторону развалин старой часовни.

К часовне часто ходят старушки. Они зажигают на обломках покрытых лишайником хачкаров[5 - Крест-камень.] желтые тонкие свечи и долго потом стоят, заслонив ладонями от ветра слабый огонек. Ведь если вы о чем-то

попросили Бога, а свеча погасла не догорев, то Он не услышит вашей молитвы.

Наши старушки все как на подбор маленькие, морщинистые, согбенные, но живые и в движениях очень быстрые. Головы их покрыты легкими летними косынками, узкая, в засборенный рукав кофта заправлена в длинную, тяжелого полотна юбку. Поверх юбки обязательно повязан фартук с тремя карманами по краю. Под тяжелую верхнюю юбку надеваются два-три подъюбника, на ногах – простые чулки или вязанные домашние носки, чаще всего разноцветные в полоску, и черные туфли, немилосердно изношенные по каменистым дорогам, на плоской неудобной подошве. В дождливые дни, когда узкие дороги становятся непролазными от жирной, липучей слякоти, поверх этих стоптанных туфель надеваются большие калоши.

Я люблю наблюдать за старушками, особенно когда они приходят в часовню. Они долго стоят над мигающими в наступающих сумерках свечами, впалый рот произносит какие-то тихие слова, ветер треплет темную одежду и выбившиеся из-под легкого платка седые, заколотые простеньким деревянным гребнем поредевшие косы. Мама говорит, что каждая такая старушка – намоленный храм.

Витькина бабушка считает, что по молодости и по глупости никто в Бога не верит, и лишь к старости люди понимают, что всю жизнь, даже не зная того, постоянно вели внутренние разговоры с Ним. Я иногда осекаюсь на полуслове и проверяю себя – с людьми я разговариваю или, может быть, еще и с Богом? Получается, что только с людьми, потому что Бог меня не слышит. Думаю, тут моя вина. Если бы я умела правильно разговаривать с Ним, Он бы услышал меня и сделал так, чтобы мама не переживала и чтобы не плакала по ночам.

Витькина бабушка добрая и ласковая, я ее очень люблю. Она воспитывает Витьку одна, то есть они одни-одинешеньки на целом белом свете, и никого у них больше нет. Потому что Витькин папа погиб на войне с душманами.

В самой большой комнате, что на втором этаже их дома, висит его портрет, обвязанный по краю черной шелковой лентой. Витькина бабушка подходит к портрету, гладит его ладонью и говорит:

– Цавд танем[6 - Возьму твою боль (арм.)].

Тихо говорит, шепотом. Если я рядом, то обязательно подхожу и беру ее за руку. Так мы и стоим, она тихонечко приговаривает: «Цавд танем», – и гладит морщинистой ладонью портрет по зачесанным набок кудрявым волосам, по большим, как у Витьки, немного навывкате, светлым глазам, по высоким скулам, по подбородку. Потом привстанет на цыпочки и поцелует. А я держу ее за руку. Чтобы она не очень плакала.

Где Витькина мама – никто не знает. Нани Тamar называет ее кукушкой и каждый раз морщится, когда кто-то говорит о ней. Я не совсем понимаю, что плохого в кукушках. Иногда по телевизору показывают мультики, от которых потом долгое время горечь во рту, потому что они невеселые. Недавно показывали мультфильм, где одна мама болела и просила у своих детей воды, а они заигрались и воды ей так и не принесли. И тогда мама превратилась в кукушку и улетела далеко, а дети опомнились, бежали за ней и звали обратно, а она не вернулась.

Я после этого мультфильма какое-то время плакала, потом надела мамин жакет и ходила так по дому. А когда мама вернулась с работы, я ей первым делом водички принесла и говорю: «Мам, если ты вдруг заболеешь, то я всегда буду тебе водички приносить, ты не думай».

А мама обняла меня и говорит: «Какая ты у меня умная девочка».

Не то что я такая умная, просто не хочу, чтобы мама превращалась в кукушку и улетала от меня.

Так вот, когда Нани назвала Витькину маму кукушкой, я какое-то время ходила задумчивая, потом пошла к Витьке. Он увлеченно терзал во дворе большой кусок брезента, который притащил со свалки. Я несколько минут молча наблюдала за ним, а потом говорю: Витька, говорю, а ты вообще своей маме воду приносил?

А он пожимает плечом и ничего отвечает. Он вообще ничего не говорит, когда про маму спрашивают. Молчит, словно воды в рот набрал. Но и я редко о ней спрашиваю, можно даже сказать – почти не спрашиваю, понимаю, что он переживает.

Поэтому я постояла немного рядом, а потом пошла к Витькиной бабушке и говорю:

– Бабушка Лусинэ, а Витькина мама когда-нибудь болела?

Витькина бабушка не умеет сразу отвечать на вопросы. Она первым делом ведет тебя умываться, поливает из большого железного ковшика и следит, чтобы ты тщательно смыл все мыло. Пока вытираешь руки полотенцем, она на кухне накрывает нехитрый стол – хлеб, сыр, зелень. Достает из холодильника банку с молоком, наливает в стакан, усаживает тебя на высокий деревянный стул и говорит:

– Ешь.

И ты начинаешь есть. А что тебе еще остается делать? И вот, когда ты сидишь с набитым ртом, и у тебя на лице пышно цветут молочные усы, она переспрашивает:

– И чего ты хотела у меня узнать?

– Витькина мама болела? – повторяю я, вгрызаясь зубами в хрустящую горбушку хлеба.

– Болела, конечно. А зачем тебе это? – удивляется она.

– А Витька ей приносил воды, когда она болела?

– Нет. Он был очень маленький, когда его мама от нас уехала. – Бабушка Лусинэ тяжело встает, подходит к окну и нарочито сердито отчитывает внука: – Виктор, брось ты наконец этот кусок брезента, сколько можно возиться!

– Тати[7 - Бабушка.], я хочу конуру смастерить. Если смастерю, заведем себе Джульбарса?

Витька всю жизнь мечтает о гампре[8 - Гампр – армянский волкодав. Порода собак, ведущая про-исхождение с Армянского нагорья.], и чтобы звали его обязательно Джульбарс. Только гампры очень много едят, и я даже не представляю, как они его прокормят, если заведут. Сами еле-еле концы с концами сводят.

Витькина бабушка ничего не говорит, она какое-то время наблюдает за внуком, потом захлопывает окно и оборачивается ко мне:

– Его мама уехала, когда ему восемь месяцев было. Он еще ходить не умел, только на четвереньках ползал. А зачем ты это спрашиваешь?

– Просто так. – Я отщипываю от сыра небольшой кусочек, задумчиво жую. – Я уже наелась, можно пойду с Витькой поиграю?

– Можно.

Вот так я и узнала, что мамы уходят не только потому, что дети им воды не приносят. Иногда у мам случаются какие-то другие причины, видимо, такие важные, что они бросают своих детей, как кукушки. Надо же, вот и я назвала Витькину маму кукушкой. Хотя в мыслях, но назвала. Главное, ему не проговариваться, а то он обидится, а обижать я его не хочу.

Наступил ранний вечер, и тень от дома хоть и тянется по всему двору, но кажется совсем прозрачной, не такой густой, какой она получается, когда кругом уже ночь и горят редкие уличные фонари. А пока светло, и бетонная плита хранит в себе тепло солнечных лучей, по ней бегают турки затики. Мы их сбрасываем с плиты и нещадно давим туфлями. – Потому что люди утверждают, что они ядовитые. Витька говорит, что совсем они не ядовитые, вон, он тыкал пальцем им в панцирную спинку – и ничего, выжил.

– И зачем тогда их называют турки, если они не ядовитые? – водит плечом Витька.

– «Турки» означает «ядовитое»? – спрашиваю я. Витька старше и умнее, ему уже восемь лет, и он много чего знает.

– «Турки» означает «нельзя», – шмыгает носом Витька. – Мне так бабушка сказала.

– А сбиваем мы их зачем? – Я заносу над очередным жучком ногу.

– Потому что так надо.

И мы какое-то время давим жучков, их удивительно много, они повсюду и лезут из всех щелей. Мы их давим и давим, а я думаю, что турецким у нас называют все плохое. Если человека хотят оскорбить, говорят – он как турок, если кто-то совершает что-то нехорошее, говорят – бесовестный, как турок. Недавно папа меня ругал за то, что я упрямясь.

– Ты почему такая непослушная, я же с тобой человеческим языком разговариваю, а не турецким! – возмущался папа.

Вот ведь, и он туда же!

– Витька, а отчего мы так турок не любим? – Я заносу ногу над новым жучком, но в последний момент отдергиваю – передумываю его давить.

Витька откидывает в сторону лист лопуха и смотрит на меня своими прозрачными глазами.

– Тати говорит, что они нам очень плохое сделали. Хотели убить всех – но не успели. Забрали у нас дома, земли. Все забрали. Вот мы их и не любим.

Ночь

В темноте я делаюсь совсем беззащитной. Поэтому, когда ложусь в постель, обкладываюсь со всех сторон игрушками. Тут и зайчик с растопыренными пуговичными глазами: один глаз синий, другой зеленый. Раньше он был просто зеленоглазым, но потом одна пуговица оторвалась и потерялась, и мама пришила другую пуговицу. Зеленой пуговицы не нашлось, вот она и взяла синюю. И зайчик стал разноглазым, но мне так даже больше нравится. Тут и кукла, большая, с бантом в пышных волосах, я пририсовала ей маминым красным лаком для ногтей щечки, и она вообще стала красавицей. Правда, мама меня потом отругала за то, что я игрушку испортила и лак извела, но для красоты мне ничего не жалко, ни своего не жалко, ни маминого. Тут и книжка со сказками – про Золушку, про Красную Шапочку, очень я люблю читать эту книжку, правда, не все буквы еще знаю, поэтому некоторые слова по памяти произношу.

В темноте мне страшно, поэтому я держусь одной рукой за лапку зайчика, другой держусь за куклу, а на груди у меня лежит книжка. Теперь меня никто не достанет, потому что я со всех сторон защищенная.

– Завтра Нани отведет меня снимать страх, – нарочито громким шепотом рассказываю я игрушкам, таким громким шепотом, чтобы услышал тот, кто прячется за шкафом и посылает мне ужасные сны. – Она была у какой-то старухи-знахарки, и та велела меня завтра приводить. Велела взять небольшой кусок мяса и булавку. Этой булавкой знахарка будет тыкать в мясо и читать молитву. Нани предупредила, что, как только она начнет тыкать булавкой в мясо, на меня нападет зевота, и чтобы я не пугалась, потому что так из меня будут страхи выходить.

А потом, когда знахарка вдоволь начитается своих молитв, мы сходим с Нани на перекресток трех дорог и похороним там кусок заговоренного мяса. Мы долго с ней придумывали, где бы нам найти такой перекресток, а потом вспомнили, что напротив здания милиции как раз пересекаются три дороги. Там, правда, светофоры, и машин много, но Нани так просто никогда не сдается. Она пожала плечом и говорит: «Ты постоишь на тротуаре, а я быстренько закопаю мясо. Это хорошо, – говорит, – что дороги у нас незаасфальтированные, а то как бы я асфальт ковыряла?»

Деду Нани велела ничего не говорить. Да я и сама не стала бы рассказывать. А то дед у меня о-го-го какой строгий и сердится, когда Нани говорит про Бога или про духов.

– Все это ерунда, – сердито шуршит дед своими газетами. – Нет никаких духов, и нечего ребенку голову не пойми чем забивать!

А Нани упрямо поджимает губы и ничего ему не отвечает. Но делает все по-своему. У нас в семье все жутко упрямые. А потом удивляются, в кого это я такая уродилась.

И я разговариваю так, с зайчиком, с куклой, с книжкой разговариваю и смотрю в окно, на выкатившийся из-за высоких холмов желтый круг луны, на звезды – огромные, мерцающие, далекие, слушаю ласковое пение сверчков, и глаза у меня сами собой закрываются.

Если немного, совсем чуть-чуть подтянуться на руках, чтобы улечься животом на широкий подоконник, то можно увидеть, как она развешивает во дворе белье. Стоит в профиль, короткие волосы заправлены за уши, непокорная челка лезет в глаза. Боцман путается под ногами, бегают кругами и сердито облаивают каждую каплю воды.

А она расправляет на веревке белье и, улыбаясь, что-то ласковое говорит ему.

Я знаю, она – самая красивая женщина на свете.

Мне не слышно, что она говорит, я елжу животом по подоконнику, чтобы придвинуться ближе. Очень хочется туда, во двор, но мне не дали шоколадки, и я играю в обиженную девочку. Я успела даже поплакать. Правда, мне это быстро надоело, и я стала играть в куклы. Но каждый раз, заслышав чьи-то шаги, я принималась громко завывать и не умолкала, пока шаги не стихали. Мне немного стыдно за то, что я так глупо себя веду.

Иногда я упрямлюсь и ничего не могу с собой поделать.

– Дочка, пойдешь со мной во двор?

Обиженно молчу.

Ушла. Теперь вон вывешивает стирку, а я наблюдаю за ней из окна. Мне хочется сбежать по ступенькам вниз и нырнуть в пахнущее стиральным порошком и крахмалом белье, я даже чувствую его влажное прикосновение к своему лицу. Кругом жара, а под тенью мокрого белья прохладно, оно висит себе, висит, а потом подует ветер, пододеяльники наполнятся его дыханием, расправят крылья и полетят куда-то в небеса. И я полечу, зацепившись за краешек, только меня и видели.

А то не дали мне конфет, видите ли.

Я слезаю с подоконника, выглядываю в дверь. Никого. Прокрадываюсь в ее комнату, нерешительно топчусь на пороге. Там, на комод, – большая деревянная шкатулка. Я знаю, что лежит в этой шкатулке, но сразу никогда не подхожу, боюсь. Сначала какое-то время переминаюсь на пороге, привыкаю.

Потом подбегаю, рывком поднимаю крышку и достаю большую пушистую косу. Волос русый, вьющийся в крупный локон. Коса тяжелая и немного мертвая. Я держу ее какое-то время на вытянутых руках, потом расстилаю на кровати и ложусь рядом.

Зачем я это делаю – не знаю. Просто лежу тихонечко рядом и думаю.

Она ее отрезала под корень и ходит с короткой стрижкой. И я знаю почему. Но делаю вид, что не знаю. Потому что я как-то ее спросила, не осталось ли фотографии девочки, а она окаменела вся, и губы сразу сделались бледные-бледные. И я поняла, что не надо об этом говорить. И не говорю, ведь я большая, хоть и веду себя как маленькая, капризничаю, например, или не ем ничего, ну, может, клубники поем, опять же яблок. Варенье еще люблю. Если я не ем, она говорит – тогда не получишь конфет. И я обижаюсь и ухожу в свою комнату. Упрямлюсь.

Что-то в этом мире не так, я знаю.

А еще у нее янтарные бусы, и в одной крупной бусине можно разглядеть прозрачное крылышко какого-то насекомого. Она говорит, что капнула смола, оторвала крылышко, и застыло оно в камне. И я смотрю на это крылышко и думаю, что насекомое, наверное, всю жизнь потом горевало. Еще бы – летал-летал, и вот, на тебе, остался без крылышка и уже не летаешь.

У насекомых тоже случаются беды.

А потом я вдруг понимаю, что больнее не тогда, когда крылышко оторвали, а когда сам его оторвал. Вот как она себе косу отрезала. Горе было таким большим, что она растерялась, побежала по комнатам, увидела свое отражение в зеркале – по плечам рассыпались тяжелые русые волосы, а разве это правильно, когда такое горе страшное, а по плечам волосы, и она заплела их в косу и отрезала под корень.

И хранит теперь ее в шкатулке. Не знаю, зачем хранит.

И я лежу вот так, думаю, а потом вдруг слезаю с кровати и засовываю косу за пазуху.

И бесшумно спускаюсь во двор, и иду, сначала медленно, не оборачиваясь, потом быстрее, и наконец срываюсь в бег, и мчусь, мимо деревянного забора, мимо высоких кипарисов, мимо кустов зацветшего просвирняка, мимо сиреневых цветов лалазар, прикоснулся – и все руки в пятнах, вниз по пологому склону, через две дороги, через сад бабушки Лусинэ, она умеет печь настоящую карабахскую гату, которую замешивают на сливках и пекут в золе и называют кркени, но сейчас не об этом, сейчас главное не останавливаться, потому что, если остановиться, можно испугаться того, что задумал, поэтому я мчусь дальше, через овраг, мимо кривой калитки, мимо развалин старой часовни, вдоль небольшой рощи, и дальше, дальше, туда, где шумит разбуженная вчерашним ливнем речка, мимо дома старьевщика, мимо пшеничного поля, мимо виноградника, а вот и он, старый каменный мост, под ним гулко шумит речка, и мне страшно так, как если бы все умерли, и я осталась одна, поэтому я зажмуриваюсь, вытаскиваю из-за пазухи косу и швыряю ее вниз, в белые воды, в самую безвозвратную глубину, и приговариваю – так тебе и надо, так тебе и надо, а потом наблюдаю, как она уплывает, обвиваясь длинной змеей вокруг камней, но теперь мне совсем не страшно, и я стою на том мосту, надо мной – прозрачное небо, подо мной – быстрая река, и я говорю себе тихо-тихо, но как бы обращаюсь ко всем, потому что одной мне очень больно с этим жить, вы знаете, шепотом говорю я, у меня была старшая сестра, а теперь ее нет.

Вера

1

– Зо-я те-тя! Зо-я те-тя!

Высокие железные ворота закрыты на массивную задвижку, ржавчина выступила из-под облупленной зеленой краски кое-где большими разводами, а где-то – затейливым точечным узором. В нескольких местах ворота погнуты, как от удара. Одну вмятину, ту, что справа, еще не успевшую покрыться бурыми пятнами ржавчины, поставил соседский мальчик Пашка.

«Бу-буммммм!» – загудело на всю округу, когда он, разбежавшись, швырнул в ворота камень.

Вера поежилась, вспоминая, как старая Зоя сыпала проклятиями, стоя над вмятиной в воротах, а потом, не прекращая ругаться, пошла домой к Пашке и устроила такой скандал, что вся улица сбегалась послушать. Старая Зоя надрывалась, брызгая слюной, и трясла полными руками перед носом испуганной тети Нади, а потом погнала ее любоваться художествами сына. И вся улица дружно ходила следом – смотреть на новую вмятину в воротах.

– Ты не можешь своего остолопа унять? Ты что, новый забор будешь мне ставить? – визжала старая Зоя. От крика глаза ее почти вылезли из орбит, а на лбу вздулась темная вена. Казалось, поднажми она еще чуть – вена лопнет и брызнет во все стороны веером кровавых капель.

Тетя Надя виновато молчала, только вздыхала, а старая Зоя все не унималась. Расталкивала зевак, отбегала в сторону, размахивалась и показывала, как Пашка кинул в ворота камень. Тетя Надя часто моргала и дергала головой, словно боялась, что сейчас получит по лицу. Потом беспомощно развела руками и обещала, что выпорот Пашку, обязательно выпорот, пусть только вернется домой, паразит!

Пашка не дурак, чтобы сразу возвращаться. Он целый день прятался на той стороне реки, в катакомбах старого завода, но потом все-таки явился – не сидеть же допоздна в разрушенных подвалах, тем более что промозгло и темнеет рано, да и идти нужно через азербайджанскую часть города[9 - Кировабад был разделен на две части рекой. На одной стороне жили армяне, на другой – азербайджанцы. Причиной тому стали кровавые межэтнические столкновения, случившиеся в Закавказье в начале XX века. Царская власть придерживалась омерзительной практики – в целях пресечения волнений, направленных против верхов, стравливала низы. Особенно такая политика оправдывала себя в густонаселенном разнообразной публикой Закавказье. Умело спровоцированная агентами царской полиции акция превращалась в бушующий пожар. Возникшие, казалось бы, из-за пустяка – пущенного слуха или банальной драки – волнения неизменно выливались в кровавые столкновения и погромы. Со времен последних столкновений прошло уже почти полвека. Переименованный в Кировабад бывший Елизаветполь, казалось, навсегда перевернул темную страницу своего прошлого. В городе жило немало людей разной национальности – греков, русских, евреев, грузин, латышей, лезгин, цыган. Но подавляющую

часть населения составляли армяне и азербайджанцы, два не то чтобы враждующих, но навсегда настороженных друг к другу племени, разведенных по обе стороны большой, мутной по весне рекой Гянджой. Гянджинкой, как ее ласково называли горожане.].

Тетя Надя не дала сыну переступить через порог. Она схватила его за шиворот, поволокла к дому старой Зои и сладострастно выпорола тяжелым отцовским ремнем. Старая Зоя не вышла за ворота, но лишать себя удовольствия наблюдать за экзекуцией не стала. Скрестив на груди руки, она выкрикивала со своей застекленной веранды проклятия, стараясь попадать в паузы между Пашкиными воплями. Вера с нарастающим ужасом наблюдала, как старательно охаживает сына тетя Надя, как сутулится и жалко ходит острыми лопатками Пашка. Ей было страшно, стыдно и мерзко, хотелось закричать, схватить тетю Надю за руки, умолять, чтобы она прекратила унижать сына и унижаться сама. Но правильных слов, чтобы убедить Пашкину маму, Вера не знала, поэтому, расплакавшись, убежала домой, кинулась с разбега на родительскую кровать – панцирная сетка скрипнула и обвисла почти до пола – и зарылась с головой в подушки. Так она и пролежала, всхлипывая, до того часа, пока, громко топая и о чем-то увлеченно споря, не вернулись с улицы братья – Мишка и Вася.

Девятилетний Мишка был старшим ребенком в семье. Младший, пятилетний Васька, будучи тихим, покладистым мальчиком, ласковым к родителям и сестре, к старшему брату относился как к объекту повышенной терпимости и делал все от себя зависящее, чтобы свести эту терпимость на нет. Он быстро смекнул, что самый верный способ вывести брата из себя – это методично покушаться на его скудное имущество – перочинный ножик, рогатку, копилку, а главное – на стопку тщательно оберегаемых конфетных фантиков. Конфетные фантики в послевоенном Кировабаде считались настоящим богатством. Они имели разную ценность: самыми дорогими считались обертки шоколадных конфет, а самыми дешевыми – карамельных. Карамельные стоили копейку, а шоколадные оценивались по-разному. Обертка «Чио-Чио-Сан», например, стоила пять копеек, а «Белки» или «Мишки косолапого» – десять. Конечно, никакой реальной ценности фантики собой не представляли, зато ими можно было играть, перекидываться, а при удачном стечении обстоятельств выменять на что-то полезное. Мишка долго, любовно возился с ними – пересчитывал, разбирал на стопки, в этой оставлял простые, в той – дорогие. Слюнявил указательный палец и осторожно проверял чугунный утюг – если тот еще не остыл, проглаживал каждую обертку, обязательно с изнаночной стороны – чтобы не вылинял рисунок. Хранил в тайнике, за висящей над комодом полкой.

Васька доводил брата умеючи. Некоторое время вел себя тише воды ниже травы – усыплял бдительность. Далее, выгадав удобный момент, быстро придвигал к комоду стул, взбирался на него, вытаскивал фантики и перепрятывал так, что Мишка потом тратил на их поиски целую вечность. Пока старший брат, чертыхаясь и грозя кулаком, рыскал по дому, Васька ходил следом, победно сопел, но места схрона не выдавал – молчал как партизан. Терпение Мишки было небезграничным, поэтому он, периодически отвлекаясь от поисков, отвечивал Ваське тумачи. Васька мигом оскорблялся, наливался огромными слезами – но не плакал, только супился и шмыгал носом.

– Мелюзга, а гордый, – одобрительно хмыкал Мишка.

– Ну! – соглашался Васька.

Вере было жалко обоих братьев. Она понимала, что Мишке и побегать хочется, и в футбол погонять, да и дел у него, как у любого девятилетнего мальчика, невпроворот. Жили они бедно, денег почти никогда не хватало, вот Мишка и крутился как умел, чтобы заработать себе на карманные расходы. То в катакомбах пропадал – они находились на той стороне Гянджинки – в азербайджанской части города. Это были руины полуразрушенного огромного темного сооружения с бесконечным лабиринтом сырых, промозглых подвалов и глубоких шахт. В дневное время суток в подвалах крутилась детвора постарше – мальчики девяти – тринадцати лет. Они там играли, искали кости и тряпье – добычу старьевщик перекупал за гроши, а потом сдавал в мастерскую, где из костей варили клей и мололи муку, а тряпье перелицовывали и перешивали.

Если не удавалось раздобыть что-нибудь в катакомбах, Мишка уезжал на рынок Цахкуц мейдан – помогал перетаскивать тяжести или стерег товар, когда кто-то из продавцов отлучался по нужде. С Васькой такую бурную деятельность развивать не получалось – за ним глаз да глаз был нужен.

Если Мишке удавалось убежать из дома так, чтобы брат за ним не увязался, Вася оставался с Верой. Он неприкрыто горевал – ему со старшим братом было интереснее, чем с сестрой, – та не рыскала по городу в поисках приключений и зайцем на трамвае до Цахкуц мейдана не добиралась. Пришибленный внезапно свалившимся на голову одиночеством, Васька моментально превращался в маленького ребенка. Вере он хлопот не доставлял – вел себя очень тихо и даже задумчиво – возился часами во дворе, наблюдал за прохожими, а иногда

воображал, что сделался невидимкой, – кутался в старую отцовскую фуфайку, забивался под деревянную кушетку и замирал. Только пятки торчали.

Родители дни напролет пропадали на работе: мама – в больнице, где она работала хирургической медсестрой, папа – в своей мастерской по пошиву и ремонту обуви. Забота о доме и братьях лежала на плечах шестилетней Веры. Мишка полдня пропадал в школе, вернувшись, наспех обедал и убегал на улицу, помощи от него было не дожидаться. А Васька совсем маленький. Вот Вера и крутилась по дому как умела. То воды натаскает, то пыль с комода смахнет – пододвинет тазик, перевернет его вверх дном, взберется на него, осторожно перенесет на стол мамину скудную косметику – духи «Сирень», пудру в треугольной коробочке «Лебяжий пух». Протрет комод влажной тряпкой – и обратно расставляет косметику. Или одежду в мыльных хлопьях замочит, чтобы потом вместе с мамой выстирать и вывесить во дворе – сушиться в лучах прижимистого на тепло зимнего солнца.

Мама работала тяжело и много, первая-вторая смена, ночные дежурства. Вернется домой – соседи тут как тут, у этого температура, у того головная боль никак не уймется, третьему спину скрутило... Только и слышно: «Марья Ивановна, помоги, Марья Ивановна, подскажи, что делать». Она никому не отказывала в помощи, и давление померяет, и укол поставит, и посоветует, к какому врачу обратиться. А потом по дому возится – готовит, убирается, гладит, штопает. Худая, изможденная, бледная, с надорванным сердцем – постоянно мучили приступы стенокардии. Вера любила ее такой огромной, бесконечной, мучительной и беззаветной любовью, что казалось, случись с ней что-то плохое – и она умрет тотчас, немедля, следом – на первом же после мамы выдохе.

Март в том году выдался неласковым – зябким и даже морозным, совсем непривычным для жарких южных широт. Который день по городу шастал колючий, беспощадный ветер. Если встать на углу Карганова, там, где улица, загибаясь резко влево, уходила в сторону церкви Мец Жам, можно было за секунду продрогнуть до костей – набравшийся злой силы ветер завертывался на этом пятачке в ледяную воронку, норовя забрать в свой бешеный круговорот все, что попадалось на его пути.

Но зима, несомненно, отступала, нехотя поддавалась весеннему духу – по ночам, исходя дивными криками, высоко над городом пролетали стаи птиц. Подгоняемые древним зовом, они летели на север, вытянувшись в длинные,

тонкие клинья.

– Курр-курр, – долетали с небес их трогательные крики, Вера замирала с открытыми глазами, натягивала на нос кусачее шерстяное одеяло, затаивалась. Глухо, назойливо тикали старинные напольные часы, возвещая приход каждого нового часа долгим надтреснутым боем – динн-донн, диннн-доннн.

Отец, заслышав хриплый бой часов, тяжело ворочался в постели. Вера вытягивала шею и напряженно прислушивалась к темноте, к отцовским вздохам. Иногда он вставал, ходил по комнате, припадая на покалеченную ногу. Наливал воды из старого, мутного стекла графина, пил громкими глотками. Курил в форточку, жадно затягиваясь, от каждой затяжки лицо его – красивое, крупновылепленное, породистое – озарялось огненными вспышками. Мишка спал на полу, завернувшись в тяжелый отцовский тулуп. Мебели в комнате было кот наплакал – ветхий комод, стол, два табурета, панцирная кровать и деревянная кушетка. На кровати спали отец с мамой, на кушетке – Вера с Васей. Мама стелила на полу старую ветошь, Мишка укладывался на нее, заворачивался в тулуп, словно ежонок, лежал, свернувшись калачиком, не высывая носа. Отец, проходя мимо, нагибался, поправлял тулуп, подтыкал его со всех сторон.

– Не спится, Андрю? – шептала мама.

– Покурить встал! – неохотно отзывался отец.

Вера прислушивалась, как он ворочался в постели, пытаясь согреться. Наконец, громко, со вкусом несколько раз зевнув, затихал. «Динн-донн», – раздражались часы надсадным старческим кашлем. «Куррр-куррр-куррр», – отзывались небеса далеким птичьим криком.

– Зо-я те-тя! Зо-я те-тя! – нерешительно позвала Вера.

Она поставила на землю тяжелый таз, попрыгала на месте, пытаясь согреться, подышала на озябшие пальцы. Обняла себя крест-накрест, спрятала руки под мышками. Обвела взглядом высокие, арочные ворота. Можно было чуть потянуть на себя створку и посмотреть, что творится во дворе. Но Вера побоялась – зачем раздражать сварливую и падкую на скандалы старую Зою?

Тут, словно услышав ее мысли, в воротах появилась сама хозяйка дома.

– Чего тебе?

Вера отвела глаза. Старая Зоя отлично знала, зачем она пришла. Но раз за разом заставляла просить, как будто получая от этого унижительное и гадкое удовольствие.

– Здравствуйте, тетя Зоя, можно попросить у вас немного коровьих лепешек? – Вера подняла с земли таз и протерла ладонью дно, убирая налипшую землю.

Старая Зоя недовольно пожевала губами, рассматривая недобрым колючим взглядом Веру.

– Что, мне кизяк не нужен? – ржаво отозвалась она. – За зиму почти весь вышел!

– Мне совсем немного. Для пола. – Вера громко, виновато сглотнула.

– Отец снова уехал? – Старая Зоя глядела длинными, узкими, злыми глазами. От того, как она смотрела, делалось холодно в животе – взгляд ее словно гипнотизировал и, вкрадываясь куда-то совсем внутрь, опасно притихал, свернувшись ядовитой змеей: шевельнешься – ужалит.

– Стой здесь. – Не дождавшись ответа, Зоя выдернула из рук Веры таз и нарочно громко хлопнула железной дверцей.

Вера запахнула ворот пальто, пытаясь как-то прикрыть худенькие ключицы. Снова убрала руки под мышки, ссутулилась. На веранде старой Зои, впритык к большим окнам, висели плотно обмотанные марлевой тканью куски бастурмы – сыровяленой говядины в острой корочке приправ. Вера вспомнила ее жгучий и пряный вкус, рот мигом наполнился слюной. Мучительно захотелось вкусных бутербродов – розовые лепестки соленого мяса на ломтях щедро намазанного сливочным маслом хлеба. Чтобы есть, запивая крепко заваренным сладким чаем, – до изнеможения, до счастливого сытого утомления.

Старая Зоя изготавливала традиционную армянскую закуску – бастурму и суджух. Замешивала в густую пасту строго отобранные специи – острый перец, тмин, пажитник, сушеный гранат, сумах, толченый чеснок. Солила говяжью вырезку, держала под гнетом, чтобы вытекла лишняя жидкость, обмазывала

пряной пастой в несколько приемов и сушила на сквозняке, плотно обмотав от пыли марлевой тканью. На суджух уходило мясо с лопаточной части. Его нужно было тоже засолить, потом провернуть в мясорубке со специями, забить фаршем баряни кишки, сформировать колбаски, долго держать под гнетом, сушить на сквозняке... Торговала она не на маленьком Цахкуц мейдане, что находился в этой части города, а на том берегу Гянджинки – за мостом, где раскинулся большой, в любое время года по-восточному обильный базар.

Кировабад был по-послевоенному нищ и обездолен. Но среди этой беспросветной и, казалось, бесконечной, словно арктическая мерзлота, нищеты, случались обеспеченные горожане. Самой богатой жительницей армянского квартала была старая Зоя. И богатство это имело темное и страшное прошлое. С началом войны всех закавказских немцев в короткий срок вывезли в Среднюю Азию – мрачными эшелонами, в товарных поездах. На сборы отводился час, иногда и того меньше. Депортация происходила в вороватой тишине, под покровом ночи – ничего не подозревающие соседи просыпались с утра, а в немецких домах не осталось ни одной души, только бесхозная живность бегают по дворам, да протяжно мычат в хлевах недоенные коровы. Люди разобрали животных, а в жилища заходить не стали, лишь прикрыли двери – некоторые дома так и стояли нараспашку, разинув в страшном оскале темные пороги.

Но нашлись фарисеи, которые, лицемерно отводя взгляд от развороченных детских люлек и неостывших постелей, шуровали по подполам и чердакам, вывозили чужое добро – немцы работали на совесть, не покладая рук, преданно умножая нажитое поколениями добро.

Семнадцатилетний сын старой Зои был одним из первых, кто кинулся грабить покинутые дома. Ничем не брезговал, опустошал кладовки, выносил мебель и ковры, перестукивал стены в поисках спрятанного золота и серебра. Потому, когда через год он погиб от поножовщины, никто из-за этого горевать не стал – собаке собачья смерть. Со смертью младшего сына старая Зоя осталась совсем одна. Старшего сына и мужа похоронила еще до войны – мужа забрала чахотка, сын уехал на заработки в Баку и погиб на стройке – сорвался с высоты. А спустя три года не стало и младшего – продул в карты большие деньги, затеял драку, чтобы силой отобрать проигранное, его и убили ударом ножа в живот.

Долго переживать смерть сына Зоя не стала – шла война, надо было как-то выживать. Она быстро смекнула, что беда пришла не на один день, что рано или поздно станет не хватать продуктов, поэтому распродала награбленное сыном

добро немцев и накупила на вырученные деньги крупы, сахара и консервов. А в голодные годы понемногу сбывала – меняла на золото, на украшения. Люди за полкило крупы отдавали целые состояния – тяжелые червонные браслеты и серьги – в обсыпке драгоценных камней, столовое серебро, старинные книги в золотых и серебряных окладах.

После войны Зоя проснулась по-настоящему богатой. Для отвода глаз торговала на рынке мясной закуской, а на самом деле жила за счет того, что понемногу распродала драгоценности и антиквариат. В ее клиентках числились жены и любовницы партийных работников и прочей высокой номенклатуры, поэтому никто Зою не трогал. Впрочем, нажитое на чужом горе состояние не принесло радости – с годами Зоя становилась черствее и злее. Когда в Кировабад привезли осиротевших в войну русских, украинских и белорусских детишек, и даже самые бедные семьи пригрели у себя по ребенку, уговорить ее взять сироту не удалось – она отказалась наотрез, сославшись на преклонный возраст и плохое самочувствие.

Старую Зою никто не любил – скупая, нечестная на руку, обозленная. Но и не игнорировали – здоровались, приглашали на семейные торжества, не отказывали в помощи. По-восточному мудро рассудили, что негоже не общаться с человеком, если даже по сути своей и по поступкам он полное дерьмо. Порицание – не людское дело. На то есть высший суд, ему все решать и по полочкам расставлять: на верхних – праведных и юродивых, на средних – запутавшихся и оступившихся, а в самом низу, в пыли и забвении, – настоящих грешников.

Громко лязгнул засов, распахнулась дверца в арочных воротах.

– На, – старая Зоя протянула таз с коровьими лепешками, – этого достаточно?

– Конечно, достаточно, – заволновалась Вера, – спасибо вам большое.

Она вздохнула с облегчением – главная проблема решена, теперь дело за малым – отнести домой навоз и сбегать за подругой Лилькой. Нужно сходить на Гянджинку – за желтой глиной.

Идти было недалеко, но дорога казалась бесконечной – широкий, тяжеленный медный таз оттягивал руки, приходилось крепко прижимать его край к животу,

чтобы удержать на весу. Наконец Вера добралась до дома, осторожно, чтобы не опрокинуть таз, толкнула плечом входную дверь, протиснулась в проем. Они жили на улице Горького, на первом этаже двухэтажного частного дома. Впрочем, все дома армянского квартала были частными – каменные, основательные, с арочными воротами и большими садами. Вериной семье сильно повезло с жильем – комната, которую они снимали, оказалась большой, с хорошим расположением – порог высокий, сторона солнечная. Правда, обстановка совсем нищенская, но за те небольшие деньги, что они платили за жилье, в лучшем случае можно было позволить себе темный закут. А тут целая комната, просторная и светлая, с высоким потолком и двухстворчатой входной дверью. Хозяин дома – Мухи-дайи, давно уже перебрался в Шамхор, к дочери, поэтому появлялся у себя крайне редко – два раза в год, весной и осенью. Тогда и забирал деньги за постой. Это была обоюдовыгодная сделка – квартирантам комната обходилась по вполне божеской цене, а хозяин был спокоен за свое жилище – ведь дома не любят одиночества и, оставшись без людского тепла, стремительно дряхлеют и разрушаются. Весной Мухи-дайи приезжал, чтобы привести в порядок сад и проветрить верхние, запертые в его отсутствие комнаты. Пока они с Андро занимались перекапыванием и уборкой садового участка, Вера помогала маме перемывать окна и натирать полы на втором этаже дома. Мишка с Васькой, недовольно бурча, выбивали во дворе ковры. Покончив с делами, Мухи-дайи уезжал до осени. На протяжении всего лета семья Оганджановых ухаживала за садом, пропалывала и поливала грядки в огороде, собирала урожай. Марья варила джемы и варенья – кизилковое, терновое, яблочное. Банки с заготовками накрывала кружком вощенной бумаги, обвязывала суровой нитью и убирала в погреб. Осенью Мухи-дайи приезжал еще раз – подготовить сад и дом к зиме. К дочери он возвращался с большим багажом – плетеные корзины, наполненные доверху гранатами, хурмой, грушей и сухофруктами, ящики, набитые аккуратно завернутыми в газетные обрывки банками с вареньем. Вторая половина урожая и заготовленных на зиму припасов оставалась Оганджановым.

Вера очень любила визиты Мухи-дайи. Он был отличным рассказчиком, знал все углы и закоулки города, помнил истории и легенды, что тянулись за каждым полуразрушенным строением – будь оно мусульманское или христианское. Охотно возился с детьми, учил их играть в нарды и шахматы. Они с отцом любили сидеть поздними вечерами на веранде и вести долгие беседы. Марья заваривала привезенный Мухи-дайи чай – черный, листовой, ароматный,ставляла кизилковое варенье – настоящее, кисло-сладкое, в густом сиропе. Дети к этим посиделкам не допускались, вечерние беседы взрослых были не для их ушей. Лишь однажды Вера ухватила кусочек запретного

разговора – неожиданно больного, тяжелого – и запомнила его на всю жизнь. Она часто крутилась на втором этаже дома – с приездом хозяина можно было подняться наверх и поиграть на старом пианино. Мухи-дайи обещал, что, если родители отдадут Веру в музыкальную школу, он оставит ей ключ и разрешит заниматься на инструменте. До музыки было еще далеко, но девочка времени даром не теряла – дни напролет она проводила возле пианино, затаив дыхание, гладила пожелтевшие клавиши, осторожно сдвигая и раздвигая прикрепленные к передней панели бронзовые подсвечники, натирала ее специальной мастикой. Иногда, набравшись смелости, пыталась подобрать какую-нибудь коротенькую, нехитрую мелодию, которые давались ей с необычайной легкостью.

В тот день Вера задержалась наверху дольше обычного, никак не могла оторваться от нотной тетради, все удивлялась дробному рисунку необъяснимых линий, знаков и закорючек, непостижимым образом хранящих в себе живое звучание музыки.

– Дочка, – позвала снизу Марья, – поздно, пора ложиться.

– Сейчас! – Вера еще какое-то время провозилась в комнате, убрала в книжный шкаф нотную тетрадь, накрыла специальной тканью клавиши пианино, аккуратно опустила крышку. Когда выходила в дверь, услышала возмущенный голос отца.

– Да, я убил. Но я не убийца! – выкрикнул тот жестким, не терпящим возражения тоном.

Вздрогнув от слова «убийца», Вера вжалась спиной в стену, застыла.

– Андро, никто тебя не осуждает, – мягко отозвался Мухи-дайи. – Я хотел...

– За то, что убил, я свое уже отсидел, – перебил его отец, – пятнадцать лет. Пятнадцать! И если ты спросишь, жалею ли я о том, что сделал, я тебе отвечу – нет. Не жалею. – Он зло закашлялся, отдышался, громко отхлебнул чая, в стакане звякнула ложка. – Смерти я никогда не боялся. После колонии на финскую добровольцем ушел. На севере такая стужа – с каждым выдохом богу душу отдаешь. Диверсионный отряд – дело нелегкое, иногда приходилось часами в снегу лежать. На линии Маннергейма отморозил себе пальцы на ноге – ампутировали полступни. С тех пор, словно подбитый из рогатки щенок,

лапу поджигаю. Других с отмороженными ногами в тыл отправляли, а я до сорок третьего воевал. Пока мне челюсть осколком не раздробило. С тяжелой травмой уже не повоюешь – такие головные боли, что в обморок падаешь. Мне бы комиссоваться, а я уперся. До конца войны в закрытом военном госпитале прослужил. Там, кстати, с Марьей моей и познакомился. Там и Мишка родился. Закрытый военный госпиталь – это тебе не шутки. Штрафбатников лечили, дезертиров на ноги ставили. Дезертиры себе сухожилия на щиколотках и руках перережут, а мы их излечим и на передовую, на передовую. В самое пекло. Чтоб кровью свой позор смывали.

Он чиркнул спичкой, затянулся:

– Мухи-дайи, ты сам видел, сколько у меня наград. Полная грудь. Я до последнего воевал, никогда от пуля не прятался.

– Ну что ты так горячишься? Не оправдывайся.

– Да не оправдываюсь я! Смертей на моей совести вон сколько, руки по локоть в крови. Но война – это одно дело. На войне у тебя конкретный враг. Или ты его, или он тебя. А эти гниды... – Отец стукнул кулаком по столу, снова закашлялся и, отдышавшись, длинно, зло, грязно выругался. Вера испугалась, отпрянула от стены, кинулась вниз по ступенькам. Марья возилась во дворе – снимала просохшее белье. Подцепит край наволочки, прижмет к щеке – чтобы удостовериться, что она высохла. На локте болтается густо унизанный прищепками круг бельевой веревки. Вера прошмыгнула мимо матери в комнату, быстро разделась, нырнула в постель.

– Ты чего так долго? – сонно отозвался Васька.

– Да так, ничего. Спи. – Она обняла брата за худенькую спину, тот свернулся калачиком, завозился, сладко зевнул. Вера лежала немного, прислушиваясь к голосам сверху, – слов уже было не разобрать, их перекрывало громкое тиканье старых напольных часов. Потом шкрябнул над головой стул и слышались знакомые шаги – это разгоряченный трудным разговором отец, не выдержав напряжения, встал и пошел по веранде, припадая на покалеченную ногу. Вера задержала дыхание – долго, дольше, чем могла, и, лишь когда стало совсем невмоготу, когда гулко застучало-затрепыхалось под боком сердце, она шумно выдохнула, зарылась лицом в мягкие кудри Васьки – и разрыдалась – горькими,

бессильными слезами.

2

Дома никого не было – Мишка с Васькой, наспех позавтракав хлебом и подслащенным кипятком, убежали играть – в субботний день у мальчиков дел невпроворот. Вера затолкала таз с коровьими лепешками под родительскую кровать, сбегала во двор, быстро сполоснула под рукомойником руки. Вернулась в комнату, дотянулась до навесного шкафчика с продуктами, взяла из вазочки два колотых кусочка сахара, убрала в карман. Вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Идти до улицы Шаумяна, где жила Лилькина семья, было недалеко. Если дворами, то вообще пять минут прогулочным шагом. С жильем Мелькумовым не повезло – крохотных размеров, угловая, сырая комната никогда не видела солнечного света. Но ничего другого на свою скудную учительскую зарплату родители Лильки позволить себе не могли. Отец, Игорь Мовсесович, преподавал в школе историю. Он был очень угрюмым, несловоохотливым и медлительным человеком – вернулся с войны без правой руки и одного легкого, поэтому от нагрузок быстро выдыхался. К тому же мучительно страдал от фантомных болей – ему постоянно чудилось, что сводит правую, оставленную на войне руку, и он порывался то погладить ее, то укутать – чтобы меньше ныло. Вся работа по дому лежала на плечах Лилькиной мамы – Анны Николаевны. Анна Николаевна была очень красивой и очень несчастной женщиной, по крайней мере так для себя решила Вера. Она часто заставляла Лилькину маму заплаканной, а спросить, почему та плакала, не осмеливалась. Лилька говорила, что мама плачет просто так, от сердобольности, потому что жалеет всех – папу, Лильку, своих учеников. Но Вере почему-то казалось, что у Анны Николаевны какая-то своя, потайная беда, и от этой беды она очень страдает. Игорь Мовсесович на слезы жены не обращал внимания. Он круглый год пестовался со своей несуществующей рукой, а летом обязательно уезжал в Шушу – к родне. Там ему легче дышалось – в высокогорье воздух был чистый и свежий, аж звенел на рассвете, а родня, хоть и седьмая вода на киселе, всегда принимала его с распростертыми объятиями.

Вера столкнулась с Анной Николаевной у ворот – накинув на плечи старый пиджак мужа и обвязав голову платком, та вышла подметать двор. Даже в таком затрапезном виде она казалась очень красивой – нежное лицо, темные пушистые ресницы, серые глаза.

– Здравссьти, тетя Аня, – поздоровалась Вера.

– Здравствуй, деточка. – Анна Николаевна отложила метлу, пошла навстречу Вере.

– Я за глиной. Вам не надо?

– Конечно, надо. Мы ее как раз сегодня в расход и пустим.

– Значит, и вам возьмем. А где Лилька?

– В сортире кукует.

Вера захихикала: если подружка заперлась в сортире – это надолго. Анна Николаевна погладила ее по голове, заправила за уши выющиеся у висков крупными волнами волосы.

– Косу сама заплетала? Вижу, что сама. Пойдем, я тебя причешу.

– И как сойдет.

– Ничего не сойдет. Пошли!

Она завела Веру в дом, щелкнула выключателем. Лампочка мигнула и осветила неровным желтым светом бедное убранство комнаты. Пока Анна Николаевна искала расческу, Вера перетащила к окну деревянную табуретку, села так, чтобы не встречаться взглядом с висевшим на стене портретом Лилькиного деда, – тот глядел слишком сурово – насупленные густые брови, высокая, надвинутая на ухо тяжелая папаха, обмотанная крест-накрест патронташем широкая грудь. Дома у Веры тоже имелся портрет деда, по отцовской линии, – такой же залихватский вид, патронташ в два ряда. Только у Вериного деда глаза большие, лучатся искринками, а у Лилькиного деда глаза казались совсем темными, пронзительно-непримиримыми.

– Разденься, горюшко, – подошла к ней Анна Николаевна.

– Ой! – Вера вскочила, стянула пальто, снова уселась на табурет. Сложила руки на коленях. Пока Анна Николаевна, аккуратно придерживая у корней, расчесывала ее длинные волосы, она не отрывала взгляд от окна – стерегла возвращение Лильки.

– Надо же какие у тебя волосы красивые, мастью в мамины, светлые, а густотой в отцовские.

– И вьются, как у мамы, – восторгалась Вера.

– Да, и вьются, как у мамы. Только завиток крупнее. Я сейчас буду заплетать косу, говори, если будет туго, ладно?

– Ладно.

– Мама на работе?

– Ага, сегодня до шести.

– А Мишка с Васькой где?

– Убежали в футбол поиграть. Мишка, как обычно, будет в воротах стоять, а Васька – под ногами путаться.

– Это хо-ро-шо, – задумчиво отозвалась Анна Николаевна, – это о-чень хо-ро-шо.

Вере хотелось спросить, чего же хорошего в том, что Васька путается под ногами, но она не стала. Ей было неловко от того, что чужая женщина возится с ее волосами. Сегодня мама ушла на работу ни свет ни заря, вот и не успела помочь ей причесаться. Пришлось Вере справляться самой. Получилось сикось-накось, ну и ладно, главное – волосы в глаза не лезут.

От мыслей о маме у Веры заняло в боку. Она шмыгнула носом, ссутулилась.

– Не сутулься. Спина должна быть прямой. – Анна Николаевна легонько оттянула назад ее плечи, провела рукой по позвоночнику, похлопала по лопаткам. – Выпрямись. Знаешь, у кого самая красивая осанка?

– У актрис?

– У балерин. Хочешь себе такую же?

– Хочу.

– Вот и не забывай держать спину прямо. Подбородок надо чуть-чуть поднять, воот так, представь, что ты привередливая принцесса. Понарошку привередливая, понимаешь меня, да? Привередливость – нехорошая черта. Далее. Своооодим лопатки. Вытягиваемся в струнку. Смотри, какая красота!

Вера счастливо вздохнула и расплылась в улыбке. Скованность как рукой сняло. Анна Николаевна сегодня совсем не такая, как всегда, – улыбается и даже шутит. Может, действительно у нее нет никакого горя, может, Вере все это показалось?

– Тетя Аня, а это правда, что вы за всех переживаете? – набравшись смелости, спросила она.

– Кто тебе такое сказал?

– Лилька. Я ей говорю – у твоей мамы какое-то горе, она всегда грустная, а она говорит – мама не грустная, она просто за всех переживает.

Анна Николаевна рассмеялась, щелкнула Веру по носу:

– Вот ведь фантазерки! Надо же было такое придумать. Нет, я не грустная, я просто задумчивая. Всю жизнь такая, с самого рождения. Папа говорил, что с таким выражением лица мне прямая дорога в академики. Мол, академики – самые серьезные в мире люди.

– Это ваш папа? – опасливо кивнула в сторону портрета Вера.

– Да. Это мой отец. Николай Согомонович.

– Лицо у него... – Вера задумалась, подбирая правильное слово. – Серьезное.

– У настоящих воинов других лиц не бывает. Особенно у карабахских. Твой дед тоже, кстати, был карабахским воином.

– А с кем они воевали, раз были воинами? С фашистами?

– С фашистами. Только с другими. Потом, когда вырастешь, папа тебе все расскажет и объяснит. А сейчас не верти головой, дай красиво доплести косу.

Вера скосила глаза к портрету. Странное дело, но с ним произошли удивительные метаморфозы: взгляд Лилькиного деда не то чтобы подобрел, но приобрел какой-то новый, доступный Вериному разумению смысл. Надо было раньше спрашивать тетю Аню про портрет. Тогда не пришлось бы его бояться.

– А моего деда звали Михаилом Андраниковичем, – вздохнула Вера.

– Знаю. Люди его звали Михо Карадаглинский. Они ведь дружили с моим отцом, воевали вместе.

– Когда воевали?

– Давно. Потом твоего деда уб... потом твой дед умер. В восемнадцатом году. Папа сильно по нему горевал. А спустя несколько лет и сам ушел.

Анна Николаевна затянула конец длинной, не по-детски густой косы Веры в хвостик, пригладила пробор:

– Теперь ты писаная красавица!

Вера перекинула косу на плечо, провела по ней ладошкой:

– Гладенькая. Я так не умею.

– Ничего, с возрастом научишься. Хочешь сухо-фруктов?

– Хочу. Только совсем немного. От них потом зубы ноют.

– От яблок и груш не должно. Это от кислого зубы сводит. От кизила, например, или от чернослива.

Анна Николаевна поставила перед Верой вазочку с сухофруктами – ешь! Вера взяла дольку сушеной груши, поблагодарила. Она хорошо знала – в гостях много есть нельзя, потому что кругом нищета и люди еле концы с концами сводят.

– А я вот чего принесла, – она порылась в кармане пальто, извлекла сахар, – тут два кусочка. Один мне, другой – Лильке. Если хотите, можете мой сахар себе забрать. Чаю попьете.

Анна Николаевна обняла Веру и крепко прижала к себе.

– Знаешь, чего я действительно хочу? Чтобы вы с Лилькой всю жизнь дружили. Всю свою долгую и счастливую жизнь. Ты можешь мне это обещать?

– Что обещать? – прогудела Вера.

– Что вы будете добрыми подругами. Всегда.

– Хорошо.

– Спасибо, деточка. А сахар спрячь. Пойдем вызволять твою подругу из сортирного плена, а то она что-то совсем надолго там застряла.

Вызволять из плена Лильку не пришлось. Только Вера с Анной Николаевной вышли за порог, как она, запыхавшаяся, выбежала из-за угла.

– Ой, Верка, ты уже тут?

– Ага. А вы все в сортире кукуешь!

– Да что-то задумалась.

– Вот вытекут от долгого сидения кишки, станешь задумчивой на всю оставшуюся жизнь, – невозмутимым тоном отозвалась Анна Николаевна.

У Лильки вытянулось лицо. Вера прыснула, звонко расхохоталась. Лилька шмыгнула носом, пихнула подругу в бок.

– Нашла над чем смеяться. Пошли.

Перед тем как выйти за ворота, Вера оглянулась. Анна Николаевна снова подметала двор. Худая, почти прозрачная – старый пиджак болтался на плечах, словно на вешалке. Чтобы орудовать тяжелой метлой, ей приходилось растопыриваться острыми локтями и наваливаться всем телом. «Шхур-шхыр, шхур-шхыр», – царапала землю неподъемная метла. У Веры заняло сердце – Анна Николаевна была очень похожа на маму – те же темные круги под глазами, та же характерная складка возле крепко сжатых губ.

– А где твой папа? – обернулась она к Лильке.

– В школе. У мамы сегодня нет уроков, она теперь по субботам выходная.

– А моя работает. – Вера вытащила из кармана сахар, протянула подруге: – Это тебе.

– Веркаааа! – Лилька сцапала птичьей лапкой угощение, поспешно отправила в рот и расплылась в довольной улыбке. – Мммм!

– Только не держи на языке, – напомнила Вера и затолкала второй кусочек сахара себе за щеку. Там он держался дольше, чем на языке. Медленнее таял.

3

Гончарная мастерская находилась сразу за старым мостом. Нужно было пройти мимо Дома офицеров, свернуть за лавкой «Прием вторчермета» и спуститься к берегу Гянджинки. В приземистом, толстобоком, подслеповатом кирпичном строении гончарного цеха круглый год исходила пылом огромная, вместительная, раскаленная докрасна печь. Зимой в помещении было чудовищно жарко, летом, в сорокаградусный зной – невыносимо. Поэтому львиная доля работы проводилась в холодное время года. Ежедневно работники мастерской – старый гончар Григорий Семенович и трое подмастерьев – Назар, Касим и Лесик – двенадцатилетний польский мальчик, чудом спасшийся в войну

и оказавшийся с другими сиротами в этом далеком восточном городе, лепили глиняную посуду – цветочные горшки, миски, кувшины, чашки. Григорий Семенович – исполинского роста старик, совершенно седой, немногословный, угрюмый – привязался к Лесику всей душой. К концу войны он остался совсем один: трое сыновей погибли на фронте, а с последней, пришедшей накануне победы похоронкой ушла и его преданная и тихая Араксия – не выдержало сердце. После смерти жены Григорий Семенович навсегда перебрался в гончарную – находится в доме, где не осталось ни одной родной души, было выше его сил. С Араксией не то чтобы проще, но хотя бы чуть легче было справляться со страшной и беспросветной болью потери сыновей. Но когда не стало и ее, Григорий Семенович сдался. Он выделил маленький закуток в мастерской, перенес туда свой нехитрый скарб, а двери и окна дома забил крест-накрест досками. Чтобы навсегда отрезать себе путь туда, где всё ему напоминало о той, прошлой, счастливой жизни.

Лесик сам прибил к Григорию Семеновичу. И одичавшему за войну ершистому, нелюдимому подростку каким-то чудом удалось растопить сердце старика – тот быстро привык к мальчику, стал заботиться о нем как о родном. Полюбил, но не баловал – скидок на возраст не делал, строго приучал к труду и ответственности. Поэтому в свободное от школьных занятий время Лесик наравне с остальными подмастерьями крутил тяжелый гончарный круг, лепил посуду, выставлял ее сушиться, а потом обжигал в большой коренастой печи. Работа мальчику нравилась куда больше, чем учеба, будь на то его воля, он бросил бы школу и полностью посвятил себя гончарному делу, но Григорий Семенович был неумолим.

– Образование превыше всего! – повторял он. – Окончишь школу – на врача пойдешь учиться.

– Зачем? Мне и так хорошо.

– Станешь врачом – тебя весь город зауважает.

– А мне не надо, чтобы весь город! – упрямылся Лесик.

– Тебе не надо – мне надо. Сегодня я есть, а завтра меня нет. Хочется, чтобы ты успел стать человеком до того, как придет мое время, – хмурился Григорий Семенович. Лесик неуклюже обнимал его, гладил по плечу.

– Дед, ну ты чего?

– Да ничего. Заждались они меня там. Только как я уйду? На кого тебя оставляю?

С годами боль по ушедшим родным не то чтобы утихла, но подернулась пеплом и патиной, если не ворошить, она тихо тлела где-то там, внутри, под солнечным сплетением, Лесик с Григорием Семеновичем предпочитали не говорить о ней, да и как можно о таком говорить, у одного сыновья погибли на войне, у другого вся семья – мама, бабушка, дед, пятимесячная сестра Агнешка – осталась под обломками разбомбленной до основания киевской трехэтажки.

Дом так и стоял заколоченный, Григорий Семенович иногда подумывал перебраться туда, но следом отметал эту мысль – возвращаться некуда и незачем. Не к кому.

Дорогу до гончарной Лилька с Верой прошли неспешным шагом – к полудню немного распогодилось, наконец-то унялся колючий, неугомонный ветер, и сквозь плотный слой облаков там и сям стали пробиваться косые солнечные лучи. Город мигом преобразился – подбодренный неистовым птичьим щебетом и веселым дребезжанием трамваев, он, словно очнувшийся после долгой дремы кот, потянулся и весело заморгал многочисленными окнами, подставляя весеннему теплу свои каменные бока.

Девочки добрались до старого моста, свернули налево и спустились по узкой тропинке вниз – к Гянджинке. На высоком, отлогом берегу реки зияли многочисленные «норы» – люди раздобывали жирную, гладкую, податливую на ощупь желтую глину. В зимнее время года приходилось пользоваться подручными средствами – от холода глина смерзалась и затвердевала, зато в жару становилась такой уступчивой и мягкой, что давалась большими, жирными, сыто чавкающими горстями. Основным ее потребителем, конечно же, была гончарная мастерская. Но горожане тоже охотно ей пользовались – в хозяйственных целях и на откуп детям – малышне она успешно заменяла пластилин.

Лилька с Верой обошли гончарную, заглянули на задний двор. Слева от ограды небольшой горкой высились неформатные изделия – подмастерья выкидывали туда бракованную продукцию.

Лилька порылась в грудке осколков, выудила поднос с отбитым краем, треснувшую по боку миску и два больших черепка – теперь было чем орудовать в промерзлой земле. В цехе было непривычно тихо. Вера поднялась на цыпочки, заглянула в окно – никого.

– Куда все подевались?

– Наверное, поесть сели, – Лилька всучила подруге миску и черепок, – у меня аж в животе заурчало от голода. Что у вас на обед?

– Гороховый суп. А у вас?

– Спас[10 - Суп на мацуне и пшенной крупе.]]! – Лилька передернула плечом, поморщилась. – Третий день одно и то же!

– Хочешь, пойдем ко мне, я накормлю тебя гороховым супом?

– Нет уж! Вам самим еле хватит. Пошли лучше быстрее, а то мама начнет волноваться – куда пропали, куда пропали!

Несмотря на холод, берег реки был многолюдным – женщины полоскали белье, кругом бегали дети. Периодически кто-то из взрослых отрывался от стирки, выискивал среди копошащейся детворы своих и, убедившись, что все в порядке, возвращался к прерванному делу.

Девочки пошли вдоль берега, наблюдая за тем, как женщины быстро и ловко стирают.

– Вера! – позвала их высокая седая старуха. – Вы за глиной пришли?

– Здравствуйте, бабушка Сатик. За глиной, ага!

– Попросите у моего внука, он этого добра уже целую кучу насобирал. Зачем вам в грязи ковыряться?

– А где он?

– А вы крикните его, – и, не дожидаясь реакции девочек, она позвала зычным голосом: – эй, Володя-джан!

– Чего? – вынырнула из норы всклокоченная макушка младшего внука старой Сатик.

– Положи Вере глины. И не делай недовольное лицо. Ты себе еще накопишь, а девочкам она для дела нужна.

– Мне тоже она для дела! – недовольно пробубнил Володя, но послушаться бабушку не посмел, только рукой махнул. – Давайте сюда вашу посуду!

Вера с Лилькой передали ему миску с подносом:

– Черепки нужны?

– Не-а, я деревяшкой ковыряюсь, – Володя протянул девочкам удивительно точно слепленную фигурку солдата, – смотрите, чего смастерил.

Вера восхищенно поцокала языком:

– Молодец. Обжигать ее будешь?

– Да разве бабушка даст мне к огню подойти? – прозудел Володя.

– Ну еще бы! – хмыкнула Лилька. – Ты ведь ваш дом чуть не спалил!

– Я нечаянно! И потом, я не дом спалил, а курятник! Мне просто интересно было, как себя куры в огне поведут. – Володя вынырнул из глиняной норы, показал им наполненную миску. – Хватит или еще положить?

– Хватит. Ну и как себя куры повели?

– А то вы не знаете!

Девочки захихикали. История с сожженным дотла курятником случилась совсем недавно, буквально на той неделе. Весть о том, что младший внук Шахназаровых спалил пол-улицы вместе с церковью, поставила на уши весь Кировабад. Всполошенный город побежал тушить пожар, спасти людей и вывозить из огня церковное имущество. К счастью, слухи оказались сильно преувеличены – сгорел только курятник старой Сатик. К тому времени, когда люди, размахивая разнобойной и, что примечательно, пустой тарой, прибежали к церкви, бабушка Сатик уже успела оплакать каждую погибшую в огне курицу и теперь в сердцах охаживала бельевой веревкой виновника торжества.

– Да пусть моя земля будет на твоей голове, Володя-джан, – причитала она, стараясь попадать ниже спины внука, – что мне с тобой делать, Володя-джан?

Володя-джан, пламенея разномастными ушами – одно было плотно прижато к голове, а второе воинственно топорщилось вбок, – шмыгал носом и стоически терпел порку. Родные его любили так сильно, что, даже наказывая, называли «джан». Душа моя.

Вспоминать о своем геройстве внук старой Сатик не любил, поэтому на хихиканье девочек обиженно пробубнил:

– Дуры! Я вам глину, а вы издеваетесь. Солдата верните.

– Сам дурак, – беззлобно огрызнулась Лилька. – Попроси гончара, чтобы он обжег твоего солдата. У него вон какая печка громадная!

– Ла-адно. – Володя перевесился через край пещерки и протянул им поднос с глиной. – Забирайте.

4

Мишка ел низко склонившись над тарелкой и остервенело орудуя ложкой – скреб по дну тарелки так, что от шума закладывало уши. Васька старался не отставать – времени было в обрез. Сегодня Мишка обещал взять его с собой в катакомбы.

– Только чур не ныть и не проситься домой! – грозно предупредил он младшего брата.

– Не буду, обещаю.

– Помогите мне вытащить из комнаты все лишнее, с полом я сама разберусь, – попросила у братьев Вера.

– Нет времени! – отмахнулся Мишка. – Ребята ждут.

– Я одна не справлюсь. Пока все сделаю, пока комнату проветрю... Хочется до маминого прихода успеть. Чтобы порадовать ее. Она же, – Вера запнулась, покосилась на Ваську, – всю ночь проплакала.

Мишка нахмурился, отодвинул тарелку, нарочито громко брякнул ложкой.

– А чего это мама плакала? – вскинулся Васька.

– Ну мало ли, может, голова болела, – быстро ответил Мишка, – давай, малой, доедай, будем сейчас мебель двигать. Верка, открой нам.

– Сейчас. – Вера кинулась к входной двери, распахнула ее, поддела торчащий из земли штырь, развернула вторую створку и приставила к ней стул так, чтобы дверь не захлопнулась.

Мальчики, кряхтя от натуги, принялись вытаскивать во двор все, что могли сдвинуть с места: стол, стулья, обувной ящик, керосинку. Перевернули, поставили на родительскую кровать деревянную кушетку.

Пока они возились с мебелью, Вера обвязала голову платком, заправила под узел косу, чтобы та не моталась по спине и не мешала работать. Сбегала во двор, набрала полведра воды, притащила домой.

– Вроде все, – Мишка обвел глазами комнату, – ничего не осталось.

– Можете идти, – Вера сдернула с вешалки вязаную шапку, протянула ее Ваське, – в катакомбах холодно, не простынь.

– А ты откуда знаешь, что холодно? Была там? – пробурчал Васька, послушно натягивая на глаза шапку.

– Это я ей рассказал, – отрезал Мишка, – девочкам в катакомбах не место.

– И ты шапку надень. – Вера потянулась застегивать верхнюю пуговицу пальто брата.

– Не продует. Уши у меня дубленые, – отмахнулся Мишка и отвесил шуточный подзатыльник Ваське, – ну что, мелюзга, пошли?

– Пошли, – шмыгнул носом довольный Вася.

После ухода братьев Вера сразу же принялась за работу. Первым делом распахнула окно, далее, орудуя большим веником, тщательно подмела комнату. Размешала в тазу навоз с глиной, плеснула керосина и воды, погрузила в жижу руки. От острой, тяжелой керосинной вони защипало в носу, заслезились глаза. Вера часто-часто заморгала, задышала ртом. На языке и нёбе мгновенно появилась неприятная горечь. Размешивать нужно было долго, тщательно, до кашицеобразной массы. Это была так называемая «мастика для бедняков», специальная смесь, которой покрывали земляные полы. Пол от нее получался желтый, матово-блестящий, держался целую неделю. Обычно полы натирала мама, Вера крутилась рядом, помогала, как умела. Но сегодня она решила справиться сама.

Работа была сложной, трудоемкой. А для шестилетней девочки – практически неподъемной. Но Вера не унывала. Она месила жижу, тщательно растирала в руках каждый катышек, убирала мелкие камешки и другой сор. Понемногу добавляла воды – делать это надо было умеючи, иначе можно было все испортить.

Когда смесь была готова, Вера намочила мешковину, хорошенько отжала ее, а потом погрузила в таз. Как только тряпка вдоволь напилалась смесью, она принялась аккуратно возить ею по земляному полу. Мастику нужно было наносить ровным слоем, не слишком толстым – чтобы потом, после высыхания, она не потрескалась и не облупилась, и не слишком тонким, чтобы покрытие продержалась до конца недели.

Работа шла очень медленно. У мамы получалось быстрее – она все делала ловко, споро, умеючи. Подцепит подол платья сзади, пришьит спереди булавкой – выходят смешные шаровары – и шурует тряпкой, только локти мелькают да худенькие лопатки остервенело ходят по спине. Делать как мама у Веры не получалось – от тяжелого запаха темнело в глазах и сбивалось дыхание. Поэтому она передвигалась на четвереньках. Так было проще, и голова не кружилась.

Спустя два часа каторжного труда земляной пол был покрыт ровным слоем желтой мастики. Теперь главное было дать ей высохнуть и хорошо проветрить комнату, чтобы избавиться от тяжелого керосинового запаха. Вера прополоснула мешковину, повесила ее на садовую ограду – высушить. Тщательно промыла таз и ведро. Натерла влажные руки хозяйственным мылом, походила так немного – хозяйственное мыло убирало неприятный запах керосина. Потом тщательно смыла водой.

Села на стул, спрятала в карманы руки. Нахохлилась. Конечно, можно было сбегать к Лильке и переждать у нее, но у Мелькумовых тоже обрабатывали пол, да и дядя Игорь небось из своей школы вернулся... Попадаться на глаза Лилькиному отцу Вере не очень хотелось. Тот был угрюм и немногословен, вечно нянчил отсутствующую руку, кашлял долго, надсадно, отплевываясь длинной желтой слюной. Ничего плохого он Вере не сделал, но девочка инстинктивно сторонилась его. Может, потому, что дядя Игорь был очень похож на ее отца. И на многих других вернувшихся с фронта мужчин. Война давно уже осталась позади, но она по сей день отравляла им существование, давая о себе знать бессонными ночами, неконтролируемыми приступами ярости, фантомными болями. Чтобы заглушить воспоминания, мужчины срывались в бесконечные пьянки и гулянки, оправдывая себя тем, что победителям можно все. Так себя вел и отец. Вера смутно понимала, что это неправильно, что так не должно быть, но осуждать отца не решалась. Ее глубоко ранили частые ссоры родителей – иногда Марья, доведенная пьянками мужа до отчаяния, срывалась, устраивала скандалы – с криками, со слезами, потом долго приходила в себя – ныло и болело сердце. Вера преданно ухаживала за мамой, заваривала чай, поила каплями, подкладывала под ноги бутыл с горячей водой. Отец после скандала уходил из дома, пропадал, Мишка поначалу делал попытки найти его, потом прекратил. Андро возвращался через несколько дней – всегда навеселе, благодушный, с гостинцами, Марья его привычно прощала, и на какое-то время в семье воцарялся мир и покой.

Марья любила мужа всей душой, из кожи вон лезла, чтобы порадовать его, – то выкроит денег на лоскут ткани и сошьет ему косоворотку – настоящую, крутокрахмальную, вкусно пахнущую от тщательной глажки, то билеты в театр справит. Недавно решила побаловать мужа походом в кино. Снарядила Мишку в кассу, тот взял два билета на «Встречу на Эльбе». Вернулись они с работы, принарядились – Марья подкрасила губы, надела платье – кружевной ворот, накладные плечики, летящая юбка, побрызгалась духами, Андро накинул на плечи шинель. Провожали их в кино всей улицей, соседка даже плеснула вслед стаканом воды – на удачу. Вера старалась запомнить каждый такой счастливый день: вот мама собрала немного денег и накупила разных вкусностей – совсем чуть-чуть, каждому по кусочку, но вечером будет настоящий пир – с тщательно сервированным столом, с горящими свечами, с обстоятельными рассказами о детстве – мама будет рассказывать о своем, архангельском, папа – о карабахском. Васька сидит на коленях у отца, прижавшись ухом к его груди, надо же, у тебя внутри голос гудит совсем по-другому, не так, как снаружи, папа смеется, ерошит его кудри – сынок, ну до чего же ты забавный! Вот папа вручает маме сверток, она разворачивает и ахает от восторга – внутри лежат туфли, модельные, на каблукке, с кокетливой застежкой. Из списанного, бракованного материала папа умудряется сшить ей в своем ателье удивительной красоты обувь – легкую, изящную, невесомую. У мамы маленькая ножка – узкая, хрупкая, с невысоким подъемом. Любая пара обуви сидит на ней как влитая.

А потом безмятежное счастье резко заканчивалось – Андро становился молчаливым, угрюмым, раздражался по пустякам. Пил, возвращался под утро, хмурый и злой. Марья какое-то время терпела, но рано или поздно снова срывалась в скандал. После скандала Андро исчезал, когда на несколько дней, а когда и вовсе на неделю, Марья плакала, страдала, почти не ела... Вера жила в постоянном страхе за мать, прятала от нее зеленку и йод – почему-то боялась, что та в отчаянии может что-то с собой сделать. Больница, где работала Марья, находилась на вокзале, сразу за паровозным депо, дорога пролежала через рельсы, и Вера каждый раз с ужасом представляла, как мама идет по этим рельсам, нарочно спотыкается и падает под поезд... Она засекала время, сидела у окна, плотно прижавшись лицом к холодному стеклу, ждала, когда мама появится за поворотом. Если Марья задерживалась – шла ей навстречу, шептала про себя – лишь бы живая, лишь бы живая...

Порой, распаленный ссорой, отец уходил из дома, забыв оставить им денег. Марья вытаскивала из обувного ящичка подаренные мужем туфли и, захватив с собой Веру с Васькой, ехала на рынок. Там они продавали эти туфли, иногда, если везло, – сразу, а иногда приходилось стоять весь день, Васька заглядывал

покупателям в глаза, теребил за рукав – купите, купите. Вера пыталась отвлечь его игрой, но Васька плакал – я устал, хочу домой. Однажды покупателя на туфли не нашлось, пришлось идти с поклоном к соседям, они дали Марье немного отварной картошки и полчашки подсолнечного масла, на том и продержались три дня до получки. А Андро вернулся в конце недели, как ни в чем не бывало, хмельной, довольный, привез детям настоящего курабье – рассыпчатого, сладкого, тающего во рту, а Марье, в красивой картонной коробочке, – серебряную чайную ложечку, с витиеватым оттиском на расписной рукояти «Баку, 1913 годъ».

День катился к закату, стало стремительно темнеть. Вера, чтобы согреться, попрыгала на одной ножке, потом на другой. Заглянула в комнату. Осторожно потрогала пол. Мастика схватилась и полностью высохла. Оставалось подмести ее, чтобы убрать волокна, которые попадают в коровьем навозе. Вера тщательно подмела комнату, закрыла окно и входную дверь. Легкий запах керосина все еще витал в воздухе, но времени на проветривание не осталось – нужно было к возвращению мамы дать комнате прогреться. Вера занесла домой стулья, обувной ящик, стол оставила на потом, все равно ей одной с ним не справиться.

Набрала в чайник воды, зажгла керосинку, отрегулировала фитили так, чтобы они не чадили. Пока чайник разогревался, она перенесла с подоконника всякую мелочь, которую пришлось убрать с комода, стащила вниз кушетку, красиво заправила родительскую постель.

Сварливо дребезжа, пробили часы. Семь. Уже полчаса, как должна была вернуться мама, а ее все нет. Вера накинула пальто, сбегала к воротам, выглянула на улицу. Сразу увидела Марью – она стояла, опустив голову, слушала старую Зою. Та что-то рассказывала ей, размахивала руками, качала головой. У Веры нехорошо сжалось сердце – мама выглядела совсем беспомощной, растерянной. И лицо у нее было такое... Словно еще немного – и она разрыдается.

– Мам! Мама! – закричала Вера на всю улицу.

– Да? – Марья словно вынырнула из морока, обернулась на голос дочери. Сделала шаг в ее сторону. Старая Зоя вцепилась ей в рукав, не давая уйти:

– Я бы на твоём месте так не оставляла. Уведет она его – как ты будешь одна с тремя детьми на руках?

– Зоя Сергеевна, спасибо, – раздраженно дернула рукой, высвобождаясь из цепких пальцев старой Зои, Марья. – Я сама как-нибудь разберусь.

– Ну как хочешь. Потом не говори, что не предупреждали. А то ведь можно адрес разузнать, явиться туда и устроить им...

Вера побежала по улице – нужно было как-то перекричать-перебить эту ужасную старую Зою:

– Мама! Пойдем со мной! Я тебе такое покажу!

– Покажешь? – машинально повторила Марья.

– Ага! Ты обрадуешься, я знаю.

– Хорошо.

Они пошли по улице, Вера висела у мамы на рукаве, заглядывала в глаза, Марья ступала молча, неестественно выпрямившись, сосредоточенно смотрела себе под ноги. Когда дошли до ворот, Вера распахнула высокую створку, пропустила вперед маму.

– Сейчас, – повторяла она, – сейчас. Сейчас ты все увидишь и обрадуешься.

Марья упала сразу, как вошла в ворота. Рухнула с высоты своего роста, ударилась больно боком, плечом, головой. Задыхнулась, согнулась от мучительной боли в сердце, хотела что-то сказать дочери – но не смогла. Только захрипела – трудно, со всхлипами. И притихла.

Вера спиной почувствовала, что с матерью что-то не так. Но сразу оборачиваться не стала. Закрыла ворота, завоzilась с тяжелой щеколдой – нужно запереть, а то вдруг Мишка с Васей, Васька испугается, он маленький. И только когда щеколда, тяжело скрипнув, с лязгом встала на место, она обернулась.

Марья лежала на боку, беспомощно откинув руку, ступня была неестественно выгнута, ботинок соскочил с ноги, Вера упала на четвереньки, подползла к ней, ткнулась мордочкой в лицо, прижалась ухом к груди – тишина. Рванула в дом, там, в комод, лежат лекарства, шприц, иглы, ампулы, она видела, что? мама колола себе, когда с сердцем было плохо, нашарила нужную ампулу, прочитала по слогам – кор-ди-а-мин, еще раз – кор-ди-а-мин, пальцы сводило судорогой, она несколько раз потрянула рукой, чтобы унять эту дрожь, вставила поршень до упора в шприц, набрала лекарство – главное медленно, чтобы без пузырьков воздуха, выскочила из дома, Марья лежала, откинув руку, подхваченные ветром легкие волосы плясали вокруг лица, Вера подбежала, рухнула на колени, размахнулась и со всей силы всадила иглу сквозь рукав пальто в худенькое плечо.

А потом легла рядом и прижалась головой к маминой груди – к тому месту, где молчало ее сердце.

Уста Саро

1

Высокий, мохнатый, бьющий челобитную восходящему солнцу Хали-кар с восточного своего склона резко уходил вниз – в синее ущелье, туда, где, сворачиваясь в пенные завитки и неглубокие, но опасные водовороты, бежала быстроногая горная речка. Обрыв сверху донизу был облеплен одинаковыми каменными домами – двухэтажными, с большими застекленными балконами-шушабандами и длинной, увитой виноградной лозой лестницей, ведущей вверх – на второй этаж. Стены снаружи не оштукатурены и не побелены – видно, как каждый камень закован в рамку из застывшего цементного раствора. От этого дома имели немного мозаичный, впрочем, совсем не портящий их вид. Скаты крыш шиферные, волнистые, в мурашках подернутых ржавчиной гвоздей. Коньки острые, в узких железных пластинах. Водосточные желоба обрывались высоко – в метре-полутора от земли. Под ними стояли дубовые бочки – большие, конусообразной формы, с широким днищем, узким горлом и двумя металлическими ободами по брюху. Бочки можно было обогнуть с любой стороны – они стояли на приличном от дома расстоянии, чтобы поймать льющийся сверху поток воды. В сухую погоду их плотно прикрывали тяжелой

крышкой – берегли каждую каплю влаги. Вода из бочек уходила на поливку огорода.

В каждом дворе, слева от входной калитки, росла неизменная шелковица – большая, раскидистая, в сезон урожая – сладко-пахучая от тяжелых плодов. Вокруг шелковицы роились ошалевшие от счастья желтопузые осы – их здесь не любили и пренебрежительно называли «ослиными пчелами».

Последний, притулившийся у самого края обрыва дом принадлежал старому часовщику – уста Саро. Дом нависал ажурным деревянным балконом над ущельем, казалось, еще немного – и улетит в пропасть, увлекая за собой одинокого своего хозяина. Когда над обрывом случались грозы, и молнии беспощадно стегали небеса огненными хлыстами, сквозь завывания ветра было слышно, как горестно скрипит балкон того дома – хшшш-шшш, хшшш-шшш...

Уста Саро смахивал на выкорчеванный из земли засохший корень – темный, шероховатый, скрипучий. В любое время года он ходил в одинаковой одежде – сорочка, жилетка, пиджак, заправленные по колено в полосатые вязаные гулпа[11 - Носки.] брюки. Зимой поверх пиджака надевалось пальто – цвета остывшего пепла, потертое в подмышках и на сгибе ворота.

Обут он был в неизменные остроносые трехи – традиционную кожаную обувь крестьян. По форме они напоминают лодку – вздернутый носок, узкая, удобно подогнанная под пятку «корма». Держатся трехи на ноге с помощью шнуровки – она обматывается вокруг щиколотки наподобие лент пуантов у балерин.

Иногда Девочка заглядывала к часовщику в гости, правда, обязательно в сопровождении Витьки, потому что одной подходить к дому, который нависает деревянным балконом над самым обрывом, ей было боязно. На вопрос, сколько ему лет, уста Саро всегда пожимал плечом и цокал языком – а кто его знает?! Говорил он на странном диалекте – значение многих слов с непривычки не разберешь. Уста Саро был из репатриантов – тех армян, которые вернулись на родину из далекой заграницы.

– Так сколько тебе лет? Наверное, сто? – любила допытываться Девочка.

– Может, и сто, – соглашался уста Саро и привычно ударялся в воспоминания, – в год моего рождения в Муше случилась большая засуха. А в следующем году такой потоп, что поля превратились в непроходимые болота. Так что нога у меня тяжелая, да...

– А может, тебе двести лет? – бесцеремонно встревал в рассказ часовщика Витька.

– Нет, до двухсот я пока не дорос, – легко отвлекался от воспоминаний уста Саро. – Но лет сто пятьдесят мне вполне может быть. Сто семьдесят – последнее слово.

– Обманываешь? – прищурился Витька.

– А то!

Дети срывались в счастливый смех – этот диалог с часовщиком носил ритуальный характер и случался всякий раз, когда они заглядывали к нему в гости. Правда, засиживаться надолго не получалось – уста Саро работал на дому, посетителей у него всегда было много – мастер золотые руки, он умел чинить все. И не только чинить, но и реставрировать. В свое время он выделил под мастерскую небольшой закуток на первом этаже дома и половину дня проводил там. Дети любили, затаив дыхание, наблюдать, как уста Саро, нацепив на глаз специальную лупу, ковыряется невесомыми щипчиками в часах. В помещении всегда стоял специфический запах – пыли, смазочного масла, механических деталей, лака и красок. Запах щекотал ноздри и глаза – через какое-то время, несмотря на распахнутую форточку, Витька начинал чихать. Вот и сегодня, надышавшись парами лака, он поначалу откашливался мелким, царапающим гортань кашлем, а потом сорвался в немилосердный чих.

– Всё, пора домой, – едва шевеля губами, пробурчал уста Саро – за работой он всегда говорил очень тихим голосом, стараясь не ходить лицом. Словно в себя. Боялся нечаянно сдуть со стола мелкие детали часов.

– А мы сегодня собрались с Нани на речку, – попыталась выиграть время Девочка, и, не дождавшись ответа, выложила главный козырь: – И Сето с собой возьмем!

Уста Саро мигом убрал лупу с глаза:

– А что, Сето еще не протянул свои копыта?

– То есть?

– Он такой дряхлый, что сегодня-завтра сдохнет. По-хорошему, пока не поздно, его в музей надо отдать, как особо ценный экспонат, долгожитель среди ослов.

– Ничего он не старый! – обиделась Девочка. – Он добрый. И упрямый. И морковку любит.

– Я тоже добрый и упрямый. И морковку люблю. Но от этого моложе не становлюсь, – хмыкнул уста Саро.

– Зато тебя зовут не Сето! – настырно прогудела сквозь поджатые губы Девочка.

– Зато меня зовут Саро! Правда похоже?

– Не-а!

– Вот ведь упрямица!

– А мы все тут упрямые, – взволновался Витька. У него смешно разбух нос и слезились глаза, – бабушка Лусинэ говорит, что упрямость у нас в крови.

– Упрямство, – поправил дед Саро, – в школе учишься, а слов не знаешь.

– Ну, – замялся Витька.

– Антилопа гну! Это животное такое, – опережая расспросы детей, пояснил уста Саро. – А бабушка Лусинэ правду говорит. Упрямство у нашего народа в крови.

– Это почему?

– Такими уродились. Всё, идите, Тamar небось заждалась вас.

– Ладно, пошли, Витька, – вздохнула Девочка, – до свидания, уста Саро.

Часовщик сделал торопливый жест рукой – то ли попрощался, то ли отмахнулся. Дети шепотом закрыли дверь и выскользнули во двор. Зажмурились на секунду – после прохладной и тихой мастерской мир показался невероятно шумным и разноцветным. И заполненным до самых краев – еще чуть, и перельется – жаром, солнцем, запахом влажных грядок и встревоженной дорожной пыли и шумом запутавшегося в могучих ветвях ореховых деревьев ветра – хшшшшшш, выдыхал играющий с собой в догонялки ветер, шшшшш.

Витька какое-то время шарил взглядом по кронам, словно выискивая там кого-то.

– А ты знаешь, что под ореховыми деревьями нельзя спать? – обернулся он к Девочке.

– Почему?

– Можно заснуть и не проснуться.

– Откуда знаешь?

– Бабушка сказала.

– Да ну, ерунда. Наверное, ты не так понял.

– Не веришь – спроси у своей.

Ореховые деревья тяжело вздохнули, повели плечами, обсыпались зелеными, чуть продолговатой формы, шероховатыми на ощупь плодами. Часть незрелых орехов уйдет на варенье. Другая часть созреет до маслянистых сладких ядрышек. Ореховые перегородки затолкают в стеклянные толстодонные бутылки, зальют тутовкой, оставят на месяц в темных погребах, а потом будут лечить этой настойкой желудочную боль. Скорлупа пойдет на растопку дровяных печек. В этом каменистом, скупом на урожай краю ничего не выбрасывают. Всему свое место и предназначение. И время.

По узкой, петливой дороге, катящейся в сторону края обрыва, медленным шагом брел Сето. Верхом на нем, вцепившись обеими руками в тряпичное, кустарной работы седло, восседала Девочка. Справа от Сето, поддерживая его за веревочные уздцы, шел Витька. Слева – Тamar.

Tamar ступала хлюпая обувью – помыла ее вечером, выставила сушиться за порог и забыла убрать. Нагрянувший ночью грозовой ливень не преминул сделать свое черное дело и напрудил полные туфли воды. Конечно, можно было надеть старые калоши, но они, изрядно разношенные, со стоптанными задниками, не годились для дальней прогулки.

– Тебе удобно сидеть? – заботливо спросила Tamar у правнучки.

– Не-а. Вот тут неудобно. – Девочка задрала платье, чтобы показать, где ей неудобно. Витька поспешно отвел взгляд, а Нани хлопнула ее по руке.

– Ты чего свой зад оголяешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Кошениль, маленькие червецы, обитающие в корнях растений, из которых получали насыщенную алую краску. Карминный алый так и называли – вортан кармир.

2

От армянского «хамс» – пять.

3

Прабабушка.

4

Водяной салат.

5

Крест-камень.

6

Возьму твою боль (арм.).

Бабушка.

Гампр – армянский волкодав. Порода собак, ведущая про-исхождение с Армянского нагорья.

Кировабад был разделен на две части рекой. На одной стороне жили армяне, на другой – азербайджанцы. Причиной тому стали кровавые межэтнические столкновения, случившиеся в Закавказье в начале XX века. Царская власть придерживалась омерзительной практики – в целях пресечения волнений, направленных против верхов, славлила низы. Особенно такая политика оправдывала себя в густонаселенном разнообразной публикой Закавказье. Умело спровоцированная агентами царской полиции акция превращалась в бушующий пожар. Возникшие, казалось бы, из-за пустяка – пущенного слуха или банальной драки – волнения неизменно выливались в кровавые столкновения и погромы.

Со времен последних столкновений прошло уже почти полвека. Переименованный в Кировабад бывший Елизаветполь, казалось, навсегда перевернул темную страницу своего прошлого. В городе жило немало людей разной национальности – греков, русских, евреев, грузин, латышей, лезгин, цыган. Но подавляющую часть населения составляли армяне и азербайджанцы, два не то чтобы враждующих, но навсегда настороженных друг к другу племени, разведенных по обе стороны большой, мутной по весне рекой Гянджой. Гянджинкой, как ее ласково называли горожане.

10

Суп на мацуне и пшенной крупе.

11

Носки.

Купить: <https://tellnovel.com/narine-abgaryan/lyudi-kotorye-vsegda-so-mnoy-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)